А. ВОРОНЕЛЬ

ТРЕПЕТ ЗАБОТ ИУДЕЙСКИХ

МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ

А. ВОРОНЕЛЬ ТРЕПЕТ ЗАБОТ ИУДЕЙСКИХ

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ

ТРЕПЕТ ЗАБОТ ИУДЕЙСКИХ

ИЕРУСАЛИМ
1976

МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ

КНИГА ПЕРВАЯ

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ

© 1976 A. Voronel

Отпечатано в типографии «Став». Иерусалим

Посвящается Эмилю Любошицу

ПРЕДИСЛОВИЕ 1976

Последующие события обладают такой мощной преобразующей силой по отношению к прошлому, что часто пристраивают весь сюжет к развязке, как длинный сон приурочен к звонку будильника. Потому-то сюжет обычно и выглядит правдоподобно, что мы смотрим на него через эту схему: будущее есть результат и следствие прошедшего... Но мне так легко представляется выбрать нужные события из прошлой жизни, что я не могу разделить эту наивную веру. Слишком часто я видел, как будущее формирует, дополняет и даже корректирует прошедшее, так что только постепенно оно становится тем, чем мы хотим его видеть, — подготовкой и основанием для настоящего, и даже не просто настоящего, а того настоящего, которое отвечает нашим представлениям о нем.

Поэтому мне совсем не хочется объяснять, как от того, что было выражено шесть лет назад в этой рукописи, я перешел к тому, что думаю и чувствую сейчас. И что я

думаю теперь не то, или не совсем то, что шесть лет назад, и не то, что три года назад, и т. д. К тому же и в рукописи было выражено совсем не все, что я тогда думал, а только небольшая часть. Почти на каждое утверждение у меня уже и тогда было отрицание и даже отрицание отрицания, и прервал я свое писание не по писательским причинам (как, впрочем, и начал его), а по жизненному сюжету, который призвал меня к действию. И это действие, не будучи включено в повествование, тем не менее присутствует в нем и значит больше, чем объяснение, хотя само и остается непонятным...

Мысль многомерна и представляется как некое тело, имеющее свою топологию и объем. Но изложение всегда разматывается как нить и существует только в одном измерении. Поэтому изложение может быть прервано, но мысль, которая составляет моток, от этого своей формы не меняет. От читателя следовало бы ожидать, чтобы он всматривался в эту форму, а не следовал за нитью на ощупь. Может быть, это и невозможно. Может быть, и нет вообще на свете такого читателя, который на 121-й странице кстати вспомнит намек, сделанный в осторожной и расплывчатой форме на 6-й странице и по другому поводу. Но, если он все-таки есть, этот идеальный читатель-собеседник, который на лету ловит намеки и распутывает неясности, читатель-труженик, готовый заполночь сидеть над твоим трудом как над своим, читатель-друг, который не соблазнится возможностью демагогии по поводу мнимых противоречий и продолжит мысль, а не сузит и исказит ее, — такой читатель (или, точнее, такое наше представление о читателе) остался пока в России. Этот фундаментальный факт долго еще будет определять наше настроение и образ мыслей. В связи с этим я довольно легко отношусь к факту возможного непонимания или даже злонамерен-

ного истолкования моих мыслей здесь, на Западе. Я уже слышал по поводу своей рукописи, что это **антирус - ская** *книга, а также, что она* **антисемитская** *. Хотя я понимаю, что никто не примет всерьез мое мнение по этому вопросу, я сказал бы, что не считаю свою книгу даже* **антисоветской**. *Все эти* **анти** *используются людьми, которые не умеют думать, для того, чтобы отделаться от реальных проблем, ибо ни одна реальная проблема не сводится к ряду, составленному из "да" и "нет".*

Пожалуй, ни один из русских писателей не миновал в той или иной форме постановки историософского вопроса об уникальности судеб русского народа. Эта постановка такова, что за ней всегда (хотя часто и вопреки воле автора) видится образец, внушенный библейской историей. Ф. Достоевский, В. Соловьев, Н. Бердяев, обсуждая свои концепции национальной судьбы и предназначения, приводят в качестве примера ("только один пример") исторические судьбы Израиля. Но никто из них не признает (не признается себе), что никакого другого примера для них и не существует, ибо уникальность — это как раз то, что не повторяется. И если бы кто-нибудь, власть имеющий, пообещал им, что русский народ в своем историческом развитии достигнет уровня и значения в мировой истории, принадлежащих, скажем, английскому народу (что во всех остальных отношениях было бы очень неплохо), ни один из этих писателей не был бы польщен представившейся возможностью. Только один народ, несущий на себе сверхисторическую и сверхъестественную задачу, привлекает к себе в метаисторическом смысле внимание русской культуры. Часто это внимание сочетается с убеждением, что роль этого народа уже сыграна в далеком прошлом и историческое право первородства как бы уже отобра-

но у него чудесным образом для других. Это удивительное, непризнанное, подсознательное соперничество русских писателей дополняется не менее удивительным фактическим соперничеством евреев, обретающихся целиком внутри русской культуры.

Современный ассимилированный русский еврей представляет собой в одном отношении беспрецедентное зрелище. Ни немецкие евреи, ни испанские марраны в прошлом, как бы глубоко они ни проникли в соответствующую культуру, не претендовали на роль ее чуть ли не единственных хранителей. Между тем теперь в СССР, из-за многолетнего перерыва в культурной традиции, такая ситуация возможна. Это связано с громадными культурными потерями после гражданской войны в России, благодаря которым русская культура только теперь возрождается, переоткрывается новой русской интеллигенцией и воспринимается в России как некая новость. И здесь евреи очень часто вправе чувствовать себя первооткрывателями и хозяевами, подобно Иакову, весьма умножившему стада Лавана. Но все же много пестрого скота в стадах лавановых, и не миновать раздела. Этот провиденциальный спор и невольное соперничество не завершатся в нашем поколении и еще принесут множество трагедий нашим детям. Судьбы русской культуры и Израиля причудливо переплелись, и это бросается в глаза человеку, приехавшему в Израиль из России. Но и Россия со своими проблемами видится отсюда иначе, и спор этот приобретает здесь новый смысл. На нашем поколении в значительной степени лежит ответственность за исход и направление развития этого конфликта, в котором возможен все же, хотя и с некоторой натяжкой, хэппи-энд. Я надеюсь, что моя книга может послужить для этого читателю так же, как она когда-то послужила мне.

Скажи мне, чертежник пустыни,
Сыпучих песков геометр, —
— Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?

Меня не касается трепет
Его иудейских забот.
Он опыт из лепета лепит,
Он лепет из опыта пьет.

О. Мандельштам.

Желание писать возникло у меня не рефлекторно, а в связи с идеей целесообразности: когда судьба давала мне особенно убедительные доказательства уникальности моего опыта, когда сомнений в том, что сей мир я посетил воистину "в его минуты роковые", вовсе не оставалось, я всегда ощущал некоторую избыточность своего видения и сожаление о том, что "такой материал пропадает даром". С возрастом во мне окрепло также ощущение, что жизнь человека имеет свою композицию, музыкальную форму, которая требует от исполнителя (а похоже, что человек — исполнитель, а не композитор) постоянного напряжения и большой чуткости к замыслу,

к стилю произведения. Некоторым эта чуткость подсказывает своевременный конец. Так, я думаю, Януш Корчак, оказавшись в бесчеловечной ситуации, выбрал свое правильное решение из ощущений почти музыкальных, во всяком случае, не имеющих ничего общего с разумом, из чуткости, которую хочется назвать эстетической, настолько она далека от обычных соображений. И то, что ему удалось не сфальшивить, показывает возможность осуществления замысла в целом, реализуемость некоего плана, который нам дано ощущать в себе в виде религиозного или эстетического идеала. Я очень хорошо представляю, как он был опечален тем, что судьба его решилась именно так, как мысль его лихорадочно искала выхода, как мучительно придумывал он детским судьбам и своему подвигу какое-нибудь оправдание, целесообразность и как мысль о собственном предательстве, высказанная врагами, вызвала у него только злость без оттенков соблазна. Думаю, что никакого искушения здесь не было. Разве когда к влюбленной женщине на улице пристает пьяный хулиган, она преодолевает искушение? И разве, если хулиган ее убьет, ее поведение можно будет назвать героическим?

Мы все поступаем так в аналогичных обстоятельствах, только аналогичные обстоятельства у разных людей разные. Эту аналогию нужно искать не в абсолютной значимости событий, а в их значении для данной души. Тогда мы увидим, что, хотя у разных людей разные мелодии (и поэтому они берут разные ноты), но по своему отношению к самой музыкальной теме очень многие обнаруживают удивительное сходство. Это и есть та чуткость, лежащая в природе человека, о которой я говорил.

Кажется, что восхищение чужим благородным поступком часто возникает у тех, кто внутри себя несет совсем

другую основную тему, либо у людей, которые своей мелодии совсем не чувствуют или все время заглушают и перебивают ее.

Восхищение, в частности, Корчаком возникает у тех, кто видит реальную дилемму: "бросить детей или остаться?" Для них искушение реально и реальна борьба мотивов. Поступок Корчака становится в их глазах каким-то подвигом абстрактного гуманизма и рецептом благородного поведения. Между тем, хотя он не мог бы поступить иначе, он, я думаю, ощущал свой поступок как глупость и никому не порекомендовал бы расстаться с жизнью и деятельностью на благо живых для предсмертного утешения умирающих. Но предать своих детей и отпустить их умирать одних — это значило бы как-то уступить перед лицом злодейства, в чем-то согласиться с ним, своим разумным решением как-то его подтвердить. Нечто вроде: "Богу — богово, а кесарю — кесарево". На это способен только человек, смиряющийся перед силой.

С детства помню неотвратимо повторяющийся поворот сюжета, когда поверженный рыцарь падает с коня и победитель с кинжалом у горла спрашивает: "Сдаешься?", и мое ощущение невозможности сдаться, неспособности сделать это искренне, и удивление, если рыцарь действительно сдается. И еще большее удивление, когда оказывается, что он сделал это не из хитрости и не собирается обмануть, бежать и страшно отомстить за свой позор. Значит, есть люди, которые могут с легким сердцем признать себя побежденными,раскаяться и действительно изменить свое поведение, свои симпатии и антипатии?! Возможно, таких людей большинство. Они способны как-то прерывать свою мелодию и делать паузу в незапланированном месте под давлением внешних обстоятельств. Но это также значит, что их музыка не композиционна, как музыкаль-

ный антракт, и может длиться произвольно. У такой музыки не может быть заключительной фразы, и план жизни таких людей совершенно иной. В оркестре их партия — там-тамы, диссонансы, в жизни их роль — грешить и каяться, в число их музыкальных средств входят скрежет и шумы, без которых теперь не бывает современной пьесы.

Но для меня главное — замысел, мелодия. Борьба начал, встречное противопоставление музыкальных тем, столкновение мотивов приемлемо для меня лишь как момент в общей композиции. Очень важный, драматический момент, но по отношению к замыслу — подчиненный. Композиция включает много других моментов, и разрешение конфликта ее не исчерпывает, так как она представляет собой некое конечное сооружение, она имеет границы во времени и хотя и соотнесена с событиями, но существует независимо и наряду с ними. Если эта мелодия кончилась, никакие события ее не заменят.

Представим себе, что Корчак остался бы и отпустил детей одних. Он проснулся бы наутро и стал думать о том, что дети чувствовали в газовой камере, как они о нем вспоминали, что говорили или кричали. И он понял бы, что жить с этими мыслями не может, что его музыка уже смолкла и он остался, как безбилетный, который с адским трудом проник в зрительный зал, но, оказывается, после конца сеанса. Пустые кресла, мусор и семечная шелуха, грязный, заштопанный экран — для этого он так старался? Покориться и остаться жить ради самой жизни — это не всегда кажется хорошим концом.

Вечная борьба начал для меня так же непривлекательна, как назойливый повтор в пьесе. Жизнь, заполненная преодолением искушений, сводимая к противоречиям, кажется мне песней, все куплеты которой заменены

припевом. Мне чужда эстетика нереализуемых идеалов, борьбы между Богом и Дьяволом, извечного грехопадения. Мне кажется, что в этом христианство делает уступку дуализму или язычеству. Человек оказывается не творением, имеющим свою цель, а полем боя, где сражаются ангелы с демонами.

Я всегда чувствовал себя совершенно иначе. Я всегда ощущал, что должен что-то успеть, что я обязан что-то выполнить, что у меня есть цель. И вот это ощущение композиции, обязательности требует от меня некоторого итога.

Однажды, на лекции по архитектуре, я услышал такую мысль: "Архитектурная форма развивается в борьбе с ограничениями, которые ставит материал, то есть преодолевая несовершенство материала и вместе с тем обнажая его прелесть. Все эти шатры, куполы, параллелепипеды суть традиционные формы, соответствующие материалу (бревнам, кирпичу, железобетону). Но как быть современному архитектору, который планирует свойства материала и таким образом лишается надежной опоры в ограничении?! Как создать форму органичную... чему?"

Это касается и стихосложения, где ограничение формы дает опору творчеству, а свободный стих легко теряет признаки искусства. Это касается и всей жизни человека. Люди, воспитанные в определенных традициях, с молоком матери воспринявшие какие-то догмы, могут проявить свое величие в форме служения этим догмам, либо — в освобождении от этих догм. Но как жить поколению, которое может выбирать догмы, мораль и традиции? Как жить людям, не получившим от прежнего почти ничего реального? Особенно, если ощущение композиции требует какой-то упорядоченности и не позволяет вести жизнь, как у птиц небесных... Как понять все,

что с нами случилось? Зачем все понимать? Как жить дальше? Что было? Что будет? На чем сердце успокоится?

На эти вопросы, конечно, не может быть прямого ответа, но жизнь человека, увиденная и рассказанная под определенным углом зрения, содержит какой-то ответ. Начиная, я еще не предвижу его вполне. Он еще не сложился.

Оставляю в стороне всю область подсознательного, так как для нее была бы нужна художественная одаренность, которой я в себе не чувствую. Таким образом, детство мое может вмешаться только в виде осознанных воспоминаний. Я начну сразу с идейных мечтаний юности.

* * *

Вся жизнь вокруг нас была пронизана политикой. Детские воспоминания наполнены "врагами народа", "фашистами", "коммунистами", а юность связана с войной.

Очень ясно помню, как мама за руку подводит меня к лотку с ярко-оранжевыми апельсинами. На мне испанка с кисточкой, и я понимаю, что эти апельсины и моя испанка связаны с тем, что испанцы — герои, что они — наши друзья. И в это время репродуктор говорит что-то о врагах народа и о том, что маршал Егоров, начальник Генерального Штаба,—предатель. И я ужасаюсь: "Что же теперь будет с испанцами?" — и спрашиваю, успел ли он выдать все секреты врагу. Оказывается, не успел. Какое счастье! А ведь еще немного, и...

Поэтому идейные метания наши тоже были связаны с политикой. Мы все были марксистами, не зная ничего иного. Когда у нас возникли сомнения, мы обратились

к нашим первоисточникам — Марксу, Ленину. Даже Сталин давал пищу критически настроенному уму в сороковых годах в советской стране. Я помню, как, читая "Вопросы ленинизма", где Сталин описывает (довольно реалистично), что произойдет, если партия оторвется от народа, я не мог отделаться от впечатления, что он меня провоцирует. Он подсказывал нам, "ч е г о н е л ь з я д у м а т ь".

Могли ли сомнения не возникнуть? В сущности, обращаясь к первоисточнику с ревизионистским покушением, мы совершали довольно обычную в науке операцию перехода — "теория — эксперимент — теория". Однако обычность такого перехода в точных науках соответствует наличию развитой теории, то есть такой переход возможен в вопросах, находящихся в стадии углубленного изучения, разработки деталей. В социальных науках мы находимся в стадии уточнения понятий, выбора идеализированных моделей и выделения основных эмпирических закономерностей. Крах марксизма здесь так же естествен, как и любой другой однопараметрической теории, которая пыталась бы исчерпывающим образом объяснить столь сложный объект. Теории выполняются только на идеализированных моделях, и степень их приближения к реальности зависит от многих факторов, среди которых главное зачастую от нас ускользает. Статистические данные в таком случае часто не помогают, а мешают, так как в том, какие цифры берутся в качестве показателя, уже содержится определенная точка зрения. Тем более, если это подтасованный и обработанный в определенном направлении материал. Но часто интуитивное представление о предмете выделяет более существенные черты, чем статистика, и эмоциональное впечатление может быть важным эмпирическим материалом.

Эмпирическим материалом для нас служила послевоенная (1945—1946 гг.) Россия, в которой зарплата рабочего была около 300—500 рублей, а порция мороженого стоила 20 рублей. Весь народ был разделен на литераторов (литер "А"), литербеторов ("Б") и кое-какеров (кое-как). На именинах у сына директора завода детям дарились подарки (кульки с конфетами), которые они растягивали на месяц и пили чай вприглядку. (Помню, что на этом празднике я впервые увидел в частном пользовании сифоны с газированной водой и кинопроектор и был потрясен таким вопиющим расточением народных средств.) Нам приходилось видеть опухших от голода людей. Оборванные инвалиды на базаре истошно пели песни, просили милостыню и обжуливали народ в карты и в "веревочку". В темных переулках убивали за пиджак. В "особторгах" и коммерческих магазинах витрины ломились от икры, колбас, сыров и прочего, про что я только читал у Диккенса. В советской литературе зато нельзя было прочитать ничего похожего на окружающую нас однообразную жизнь. Конечно, это не согласовывалось с Лениным, ни тем более с Марксом. Но в таком случае единственным выходом для советского юноши была борьба, причем борьба бескомпромиссная и не считающаяся с последствиями.

Здесь я хочу сказать несколько слов о разнице между фашизмом и коммунизмом и о том, что какие-то традиции, вопреки сказанному выше, до нас дошли. Независимо от того, насколько сходна практика этих двух режимов, есть пункт, в котором различие идеологии имеет принципиальное значение. Этот пункт — воспитание молодежи. Как бы ни были урезаны, опошлены и искажены идеалы русского XIX века и европейского социализма в изложении наших учебников, газет и про-

пагандистов, они ничем не напоминали: "когда еврейская кровь брызнет под ножом" и т.п. Правда, был Павлик Морозов и "если враг не сдается — его уничтожают". Но все эти вещи тонули в море русской классики, которая издавалась и официально одобрялась. Не находя достаточно пищи в действительности, молодежь увлекалась чтением, и этот порок советская власть поощряла — вместо того, чтобы категорически запретить и заменить маршировкой и спортом.

Таким образом, молодой человек обнаруживал расхождение между теорией и практикой, когда его убеждения уже складывались на почве добрых чувств, и его дальнейший вынужденный компромисс всегда носил как бы тайный и постыдный характер.

Поэтому, обнаружив такое расхождение, мы не сомневались ни минуты, что должны бороться, и задумывались только о формах этой борьбы.

Внимательное чтение Ленина и особенно комментариев к нему в старых изданиях дало нам представление об оппозиционных программах 20-х гг. Жизненные наблюдения указывали на многочисленные язвы современности (благо они прямо бросались в глаза). Этого было достаточно для построения теории перерождения ("буржуазного", конечно) и составления политической программы перехода власти в руки рабочего класса в духе профсоюзной "рабочей оппозиции", децизма и т.п. Идея возвращения к истокам всегда возникает, как первый вариант попытки обновления.

Нас было семь мальчиков и одна девочка. После долгих дебатов о методах борьбы (причем соображения личной безопасности отбрасывались как несущественные) мы пришли к необходимости агитации населения с помощью листовок. Нам удавалось написать печатными буквами и расклеить к праздникам до сотни листовок,

которые мы помещали возле хлебных магазинов (где скапливались по утрам громадные очереди) и на портретах передовиков, развешанных по сторонам улиц. Иногда, рано утром, мы приходили в эти очереди и прислушивались к реакции толпы. Реакция была сочувственная.

Тем более удивился я позднее, когда увидел у следователя все наши листовки, аккуратно подшитые и пронумерованные. Было похоже, что ни одна не пропала. Принесены они были в КГБ добровольными доброжелателями, лояльными гражданами.

Нас беспокоила неэффективность, точнее, малая производительность нашего труда, и мы уже начали готовить гектограф (глицерин, желатин и еще что-то), когда нас арестовали.

В подробностях нашего ареста, ночных допросах, очных ставках и других тюремных переживаниях самих по себе нет, мне кажется, ничего особенно интересного, но на некоторых моментах я хотел бы остановиться.

Меня почти в самом начале (не сразу после ареста, а продержав ночь в боксе — камере без койки) завели в какую-то кордегардию, посреди которой стояла длинная скамья, и велели раздеться. Я разделся до трусов, но мне велели снять и их.

Так как я в это время "не раскалывался", моя мысль была все время направлена на разоблачение возможных способов воздействия на меня и подготовку к защите. Не было никакого сомнения, что меня сейчас положат на эту скамью и начнут бить. И вот, хотя я боялся этого и дрожал от холода босиком на каменном полу, в моем ожидании был оттенок любопытства. Я думал, что так узнаю что-то тайное о "них", об их средствах, о том, чего никто не знает. Я узнаю о себе, могу ли я выдержать.

Наконец я дождался. Пришел врач, велел мне нагнуться и долго разглядывал мой задний проход. Оказывается, это была проверка на гомосексуализм, о чем я, впрочем, узнал лишь гораздо позже. Меня не били. Вообще, изолятор КГБ показался мне уголком Европы в море наших тюрем, изоляторов, лагерей.

Меня не били, но я был совершенно готов к этому. Мы все знаем, что нас можно бить. Мы удивляемся, когда нас не бьют. В своих предположениях мы заходим гораздо дальше палачей и подсказываем им, что нам дорого и чего мы не выдержим.

Однажды у моего следователя во время допроса сидел мужчина в вышитой рубашке. К вопросам следователя он добавлял свои, очень странные: "Читали ли вы Ницше?", "Читали ли вы Шпенглера?" Потом он произнес речь, смысл которой сводился к тому, что он, читавший Ницше и Шпенглера, не заразился фашистским дурманом, а мы, даже не читавшие, заразились, и в этом видна наша гнилостная сущность. Мы должны быть вырезаны из общества, как гнилая часть яблока из румяного плода (это его выражение), и, главное, должны сами это понять и немедленно с ним согласиться. Сначала я пытался вставить слово, напоминая, что мои взгляды, собственно, не фашистские, а еще более коммунистические, чем его. Но он был монологист, не давал себя перебивать и, кончив речь, сразу ушел, оставив меня в недоумении и расстройстве.

Потом оказалось, что это был представитель обкома комсомола, которого послали к нам с миром для воспитания, назидания и изучения. Теперь, вспоминая его поведение, я думаю, что больше всего он боялся дать мне открыть рот и вообще как-нибудь впутать его в это опасное дело. Наверное, он чувствовал себя в КГБ еще менее уютно, чем я, и речь его предназначалась не мне, а следо-

вателю. Он был интеллигентный человек, и теперь я вспоминаю какой-то оттенок нервозности в его поведении. Вероятно, он думал, что эта встреча для него опаснее, чем для меня, который и так уже сидит, и его поношение немного мне добавит. К тому же он читал Ницше и помнил: "Падающего толкни!" Я думаю, в обкоме его инструктировали либерально: "Посмотрите, разберетесь на месте. С вашей-то эрудицией!" А он думал, как бы с этим поскорее покончить и унести ноги из КГБ. Таким людям не нужно давать инструкций. Они сами за свой страх и риск уничтожают крамолу в своей среде. К счастью, с него, наверное, взяли расписку, что он ничего никому не расскажет, и он был избавлен от необходимости стыдиться, скрывая этот случай от жены, друзей, детей.

Я с тех пор достаточно нагляделся на таких слизняков и представляю себе, что, если б у него спросили в КГБ, что с нами сделать, он сказал бы на всякий случай: "Расстрелять!" А когда бы узнал, что расстрелять по этой статье невозможно, внутренне бы страшно обрадовался и тогда бы уже совсем с чистой совестью настаивал: "Расстрелять и только!"

* * *

Когда станут писать Историю советской России, 45-52 годы будут самым темным периодом — из-за скудости официальной информации и недостатка документов. Но я знаю, что это были годы подпольных кружков. Впервые в тюрьмах появились "политиканы", посаженные за дело, а не по недоразумению. Обычный лейтмотив политических заключенных старшего поколения — "ошибка", "недоразумение", "лес рубят — щепки летят" и т. д. Все они жаловались, что ни в чем не винова-

ты. В конце 40-х опять появились исчезнувшие в 20-х заключенные, которые были виноваты, которые сидели за свои реальные поступки и взгляды. На воле были десятки подпольных молодежных кружков, которые изучали марксизм, писали листовки, издавали рукописные журналы, сочиняли программы, манифесты и пр. Я лично был знаком с представителями девяти таких кружков в разных городах и слышал еще о двух десятках. Ни один из этих кружков не выходил за пределы студенческого возраста, и деятельность их, вначале очень бурная, становилась все более скромной с увеличением возраста участников. Камнем преткновения для всех была идеология, положительная программа, которую юноши не могли выработать в пределах ортодоксального марксизма и не могли заимствовать из-за отсутствия информации извне. По мере взросления требования к четкости идейных позиций растут и желание действовать наугад отпадает. И кружки распадались, но количество людей, напряженно ищущих идеологического освобождения и готовых принять любую разумную программу действий, постоянно росло в эти годы.

Почти в это время были написаны стихи Э. Манделя (Н. Коржавин), который испытывал угрызения совести за наше поколение:

Можем рифмы нанизывать
Посмелее, попроще;
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
Мы не будем увенчаны,
И в кибитках снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

Все-таки его угрызения были преувеличенными. Мы рисковали больше, нам было труднее и страшнее, и все же мы не ограничивались одними рифмами. Поэтов, впрочем, среди нас было так же много, как и среди декабристов, и женщины любили их так же самоотверженно. Я вспоминаю одного поэта-бунтовщика, который был ранен на фронте. Его рана открылась, и в тюрьму в 1946 году его несли на носилках. Рядом шла девушка и держала его за руку. Потом один раз в 10 дней (день передачи) она передавала ему буханку черного хлеба и букет полевых цветов.

Он сейчас состоит в Союзе писателей, и его поругивают в печати за то, что в его стихах, пожалуй, слишком много о сельхозмашинах и всякой технике: "Следовало бы все же помнить, что основное внимание советская литература должна уделять человеку". Как видно, он прошел очень большой путь исканий и побед. То же произошло и с многими декабристами.

Правда строчек Манделя состоит в том, что наши переживания останутся почти неизвестными. Мы не знали друг о друге. Нам казалось, что все вокруг осуждают нас, что наши жертвы напрасны. В литературе, да и в "Самиздате", почти ничего нет о молодых людях этого времени, об умонастроении тех лет. Похоже, что история тогда прекратила течение свое.

Но все же жизненный опыт или писательская чуткость подсказали А. Синявскому сюжет, связанный с таким молодежным кружком ("Суд идет"). А. Белинков был осужден в 1945 году за попытку выработать собственную идеологию. В. Корнилов написал поэму на эту тему. Вот небольшой список литературных фактов, ставших реальным отражением нарастания оппозиционных настроений в стране, где, казалось, "от молдованина до финна, на всех языках все молчит".

Этот рост тайной оппозиции был прерван смертью Сталина и появлением легальной либеральной идеологии. Сначала "Оттепель", а потом все круче через Дудинцева и "Новый мир" к реабилитации и лагерным воспоминаниям.

Конечно, я теперь очень скептически отношусь к тем революционным идеям, к тем детским мечтам, которые воодушевляли нас в 46-м году, но мне кажется неправильным впечатление, будто все в стране сидели и ждали, пока Хрущев их освободит. Не менее (а мне сейчас кажется, что более) многочисленная группа населения, чем в 60-х годах, пыталась организовать сопротивление сталинскому режиму.

Другой (бескомпромиссный) характер режима определил и другую (конспиративную) форму оппозиции по сравнению с 60-ми, но сам факт имел место. Общее число участников известных мне кружков должно быть между ста и двумястами. Если исходить из предположения, что общее число таких кружковцев в 10 раз больше (в такой большой стране, как наша, это может быть сильное преуменьшение), мы приходим к одной-двум тысячам активных оппозиционеров, что, во всяком случае, не меньше демократов наших 60-х годов, участвовавших в различных формах протеста.

В тюрьме я познакомился с несколькими молодыми людьми, попавшими туда за то же самое. Их идейный багаж был не намного больше моего. Один читал Кропоткина и был анархистом. Он писал стихи, например:

О жди свиданья, Эфемера!
— Песнь лебединая моя,
Пока не отвердела вера
В сухую горечь бытия.

Таким образом, он был романтиком по убеждению.

Другие исповедовали чистое искусство. Их главный идеолог и классик был А. Блок. Они тоже писали стихи:

Миры тоски, как небо, велики.
А я их взял за худенькие плечицы —
Я проглотил живого пса тоски,
И он в груди моей, кусая лапы, мечется.

Они предпочли бы отгородиться от действительности, если бы она позволила им это сделать.

Третьи были совсем как мы, только более начитанные. С помощью экстраполяции Маркса, Ленина и пр. они создали концепцию "искаженного социализма", который, якобы под влиянием условий борьбы, неузнаваемо деформировался и изменил свою социальную базу. Они убедили меня, что социализм построен, но люди не умеют пользоваться его плодами. Их идеология отстает, и поэтому они тратят свою энергию на угнетение себе подобных, используя аппарат насилия, построенный для покорения природы и безудержного развития производительных сил. Здесь что-то такое, что может быть построено и пущено в ход без участия душевной структуры, внутреннего соучастия человека. Необходимо, считали они, нравственно реформировать общество и влить наконец в наше социалистическое государство - форму социалистическое же содержание — честную, мыслящую, преданную социализму молодежь. Вот так проявляется наш материализм. "Форма", "содержание", "влить", "построить", "перестроить", "перевоспитать".

Я впервые столкнулся с вариантом идеологии: "идея хороша, но выполнение плохо" и был увлечен ею. Действительно, казалось мне, если бы начальник был хороший человек, разве он не сеял бы добро? Значит, не система

виновата, а люди, которые находятся не на ее уровне. Ведь, по-видимому, все несправедливости — это злоупотребления властью, нарушения законов, а не проявление этих законов. Если человек стремится к справедливости, он не может расходиться с законами. То, что мы рассуждали об этом, сидя в тюрьме, не смущало нас. Мы от души прощали системе, которая ведь "должна себя защищать" и, пользуясь только формальными критериями, лишена возможности отличать истинных друзей от врагов. Правда, иногда, отчаявшись, мы задавались вопросом: "А может быть, путь от первой фазы коммунизма ко второй лежит через революцию?" Во всяком случае было ясно, что это трудный, мучительный, но благонаправленный процесс, который носит не столько экономический и политический, сколько нравственный, гражданский характер.

* * *

Так как единственной аудиторией для этих моих новых взглядов в течение нескольких последующих месяцев были воры и другое население детской исправительной колонии (все преступники до 18 лет попадают у нас, к сожалению, не в общий лагерь, а в детскую исправительную колонию, которая, вероятно, была бы названа Солженицыным девятым кругом ада, если бы он побывал там), я с жаром излагал свои идеи им и отчасти преуспел. Старые, взрослые воры, попадавшие в колонию благодаря подложным документам на семнадцатилетних относились ко мне с некоторой симпатией и находили занятным. Это давало мне небольшую передышку от издевательств и побоев на то время, что я общался с ними.

Надо сказать, что большинство воришек и мелких насильников в колонии были настроены исключительно лояльно и даже фанатично по отношению к советской власти, и я испытал всю тяжесть народного гнева против "отщепенцев и врагов народа".

Рассказывать о колонии и ее нравах здесь не к месту,— это отдельная тема, которая уведет меня в сторону. Хочу только сказать, что огромное большинство "преступников" были сбежавшие домой ученики ФЗО и ремесленных училищ, которых по законам военного времени судили как саботажников, несмотря на то, что войны уже год как не было.

Вся эта серая масса воспитывалась и управлялась лагерным начальством с помощью "активистов", которые, напротив, все были ворами и хулиганами. Активисты имели право не работать и этим правом пользовались. Они тщательно выбирали из общей массы наиболее одаренных подлецов и садистов для включения в свой избранный и привилегированный круг. Этот круг создавал в колонии атмосферу, в которой просто остаться в живых было совсем не просто. Особенно страшно становилось от того, что жизнь в колонии была пропитана макаренковской терминологией и в своем гротескном противоречии сущности с названиями напоминала ночной кошмар. Это противоречие никого не стесняло и лишь подчеркивало полный произвол в выборе идеологии, которым может пользоваться насильник, если он не связан необходимостью считаться с внешним миром. Воры в колонии воспитывали рабочих подростков в духе твердой дисциплины, и наиболее мускулистые хулиганы получали дополнительное питание для истощенных.

Здесь впервые мое внимание было остановлено на еврействе. И именно не на евреях и не на антисемитизме,

а на чем-то противоположном ему, на какой-то еврейской солидарности.

Тот факт, что из восьми членов нашей группы семеро были евреями, казался нам случайным. То, что в других группах также очень большую роль играли евреи, не остановило моего внимания. Но та помощь, которую мне охотно оказывали заключенные-евреи, не имеющие никакого понятия о моих идеях, заставила меня с благодарностью подумать, что есть нечто, объединяющее меня с ними. Когда в лагерной бане ко мне подошел банщик-зэк и на идиш спросил, не еврей ли я, откуда и по какой статье попал в лагерь, я понял его с помощью школьного знания немецкого и разговоров дедушки с бабушкой. (Дедушка с бабушкой говорили по-еврейски, когда хотели, чтобы дети их не поняли). Он проявил такой неподдельный, такой искренний интерес к моей судьбе, что мне стало стыдно моего незнания языка и невозможности соответствовать. Меня поразило, что я был небезразличен этому чужому человеку, как будто бы мы были знакомы в прошлом или близки семьями. Он дал мне лишний кусок мыла и велел приходить за любой помощью. Только тот, кто был в лагере, может оценить такую услугу.

После карантина в изоляторе я с партией малолетних зэков должен был поступить в колонию, и за нами пришел бригадир по кличке Хаим. Усатый самоохранник (среди зэков есть такая привилегированная категория), который до этого казался мне грузином, сказал: "Вот, Хаим, тут двое еврейских ребят — не давай их в обиду".

Хаим этот (его звали Петя) сидел за бандитизм и однажды на моих глазах повесил мальчишку, надев ему трансмиссионную петлю на шею. Когда мальчишка начал хрипеть и дергаться, он его спокойно снял. Он сидел уже два года, и равного ему по какой-то свирепой от-

чаянности не было. Но он действительно начал о нас заботиться. Он дал нам кровати возле своей (благодаря этому ночью мы могли спать, не ожидая, что соседи написают нам в лицо) и не давал издеваться над нами в своем присутствии. Другие воры, особенно "старики", одобряли его: "Правильно делаешь, Хаим! Своих поддерживаешь! А мы, русские, как волки друг другу". Я с удивлением обнаружил, что Хаим не только не скрывает своей доброжелательности к нам, как делал бы любой покровитель на воле,но и гордится этим, причем особая его гордость состояла в том,что мы такие интеллигентные и образованные. Он даже приглашал своих коллег из других бригад посмотреть на нас, послушать и подивиться, какие бывают тонкие и умные люди. Иногда он пытался советоваться с нами, но скоро сформулировал, что для житейских вопросов мы слишком высоко летаем. Было похоже (впоследствии это подтвердилось), что наша "образованность" для него была важнее нашего еврейства.

Я вспоминаю многих евреев, с которыми встречался в тюрьме и на воле,— бандитов, спекулянтов, парикмахеров, офицеров, художников, академиков. Есть ли что-то общее для всех нас? Что толкает столь разных людей на проявление солидарности?

Эта общая основа, мне кажется, есть. Через двадцать с лишним лет, беседуя с одним американским коллегой на общие темы, я услышал, что наука — вовсе не самое привлекательное поприще для американского юноши и молодежь не рвется в университеты. Удивившись, я сказал: "А вы как же?" "Ну, я ведь еврей!" — ответил он, считая, что этим все сказано. Вот это традиционное, сохраняемое всеми уважение к образованности, любовь к учению, пиетет по отношению к мудрецам и книжкам,

по-видимому, объединяет евреев сильнее, чем общий язык и взгляды на жизнь. В этом уголовник Хаим ближе мне, чем Жан-Поль Сартр, Ганс Магнус Энценсбергер или какой-нибудь другой интеллигентный разрушитель культуры.

Так как отношение к образованию, конечно, не исчерпывает этой общности, а лишь очень ярко ее подчеркивает, я рискну обобщить свое утверждение. Через семью, книги, разговоры окружающих и давление иноплеменников евреи в юности усваивают общую шкалу ценностей, которая впоследствии оказывается отличной от практической шкалы других людей. Парикмахер-еврей чувствует себя задетым, когда при нем ругают интеллигенцию. Грузинский еврей-сапожник хвастался передо мной тем, что его жена имеет высшее образование и что он сам, когда наденет свой белый костюм, выглядит как "кандидат наук". Он не сказал: "как секретарь райкома". Еврей имеет претензию считаться интеллектуалом независимо от профессии.

В этой своей ориентации он чувствует свое практическое отличие от всех других, причем, чем ниже социальный круг, тем больше это отличие. Среди академиков, евреев и русских, различие в духовных ценностях не так велико, как среди шоферов. Поэтому евреи-интеллигенты легче ассимилируются, чем рабочие, и меньше склонны к актам еврейской солидарности. Это происходит не из предательского корыстолюбия, а оттого, что их шкала ценностей отличается от шкалы их русских коллег гораздо меньше, чем у рабочих. Солидарность интеллигентов с их интернациональными ценностями перевешивает у них солидарность народную, понимаемую к тому же народом упрощенно. Это связано с самим характером еврейских национальных традиций и еврейской шкалой ценностей, на которой стремление к истине, изучение

предмета и наука вообще отождествляются. "Святой, праведный" и "ученый" почти синонимы для традиционного еврея. Вести праведную жизнь — это прежде всего "изучать Тору". Эта общая шкала ценностей проявляется не только в том, что глупые и необразованные евреи восхищаются и боготворят умных и образованных соплеменников, вместо того чтобы их ненавидеть, как это принято в России.

С этой чертой связано и еврейское народное представление о справедливости, и убежденность (так дорого нам обошедшаяся в революцию), что жизнь можно организовать и преобразовать на каких-то рациональных основаниях, и стремление быть "современным", и потребность приобщиться к культурным ценностям человечества.

У Хаима эта потребность выразилась в том, что он заставлял нас расписывать стены барака грандиозными картинами, а по вечерам рассказывать "романы". Он проявлялся, как и всякий другой деспот. Но суть дела, мне кажется, в том, что вне зависимости от его практического поведения, теоретически его идеалы были теми же, что и у меня. Его пиетет относился не к определенным идеям или образам, а к культуре как таковой. Сцены из "Трех поросят" он одобрял так же охотно, как "Спартака в битве" или "Кремль поутру".

Я чувствую, что в ответ на мои рассуждения хочется возразить. Во-первых, и татарин поддерживает татарина, и эстонец — эстонца. Во-вторых, эта теоретическая шкала ценностей напоминает Бога Достоевского, которого несет в себе русский мужик и, даже согрешая, чувствует. По этому поводу можно сказать, что татарин поддерживает в тюрьме татарина потому, что есть некие ценности, которые равно дороги им обоим. И, конечно, сама по себе еврейская солидарность не уникальна. Но уникальна

система ценностей, которая объединяет евреев. Ее уникальность состоит в том, что она необычайно близка к нашей общечеловеческой или, лучше сказать осторожнее, — к системе ценностей, характерной для нашей европейской гуманистической цивилизации.

Такое утверждение может показаться бессодержательным, так как на какой-то ступени все ценности всех народов одни и те же. Но у большинства народов (а у русского в особенности) существует большая разница между громко провозглашенными теоретическими и внутренне ощущаемыми практическими системами взглядов, ни испанские фашисты, ни южноафриканские расисты, ни советские коммунисты, ни даже саудовские феодалы и рабовладельцы не чувствуют никакого неудобства, так как в общих формулировках, в принципе, они согласны, что равный им человек должен иметь права и т. п. Но практически "всем известно", что негр — не человек, еврей — не народ (вариант — не нация), раб — вообще скотина, а коммунист — советский шпион и т. д.

Эта ясно ощущаемая всеми разница между практикой и принципами не всегда дается евреям. Их гибкий, в основном, ум проявляет в этом месте странное отсутствие гибкости, какую-то упорную догматичность. Их динамичный, приспособленный, в общем, характер в вопросах "справедливости", в толковании принципов проявляет необычайную оголтелость, безудержную прямолинейность. Их склонность "качать права" вызывает всеобщее раздражение именно тогда, когда она не диктуется никакими практическими интересами. В таких случаях изоляция евреев от других особенно ярко проявляется. Солженицын в "Раковом корпусе", желая подчеркнуть особую "поперечность" Костоглотова, отметил, что на весь корпус был только еще один такой больной — Рабинович. Это упоминание весьма многозначительно.

По-видимому, за две тысячи лет евреи так впитали библейские заветы, что разница между писаным и подразумеваемым у них минимальна. Отклонение практического от провозглашаемого воспринимается ими как резкий диссонанс — независимо от содержания явления. Так, большинство советских евреев особенно возмущено государственным антисемитизмом вовсе не потому, что они его жертвы и очень от него страдают, а потому, что он противоречит громко провозглашенному интернационализму. Народный антисемитизм воспринимается евреями сравнительно легко и вспоминается только, когда речь заходит о "дружбе народов".

Бесчисленные жалобы на то, что "не берут", "не пускают", "не дают", "не принимают", "вычеркивают", помимо вполне объективной информации, несут в себе некий дополнительный элемент, который для стороннего наблюдателя, не понимающего нерва, сердцевины сетований, компрометирует саму проблему. Но родственное внимание, сочувственный взгляд именно в этих преувеличениях, в нередкой безосновательности требований, в гротескных претензиях заик на должности дикторов и местечковых мудрецов на роли хранителей чистоты русского языка увидит смысл и пафос народного чувства.

Когда евреи соглашаются жить по законам других народов, они непроизвольно относятся к этим законам по-своему. Они требуют от окружающих такого отношения к законам, которое им не свойственно и которого, быть может, не было у самих законодателей. В России провозгласили равенство всех со всеми. И есть евреи, которые хотят равенства во всем. Они хотят, чтобы их бездарность воспринималась так же снисходительно и сочувственно, как и неспособность русских.* Они под-

* Будучи такими же чужаками в русской культуре XIX века, как и русские выдвиженцы.

сознательно чувствуют, что их акцент не хуже малограмотной речи наших вождей (а сознательно они в своей гордыне даже воображают, что гораздо лучше). Они хотят, чтобы их глупые дети так же нагло торжествовали над умными, как это принято у русских. Эти евреи сопротивляются вытеснению их в интеллектуальные области. Они инстинктивно не хотят быть умнее. Они, в точном соответствии с усвоенной идеологией, хотят вознаграждения за несамостоятельность, за лень, за конформизм, за послушание. Отказываясь от своего национального лица (как мы видим, безнадежно) в пользу русских идеалов, они хотят для себя такого же поощрения русских национальных пороков, какое практикуется по отношению к другим. Изгнанный из содержания, национальный дух тем полнее господствует в форме восприятия чужого содержания. Тем насмешливее он торжествует свою победу, подчеркивая чуждость того, кто в отступническом рвении готов был переменить имя, проклясть религию и исправить в паспорте национальность.

Когда вы попрекнете национальностью бездарного и безграмотного еврея, который во всеоружии своего марксистского талмудизма разоблачает Евангелие, Толстого, Бердяева и пр. или с высоты своего нового православного фанатизма призывает русский народ возлюбить Христа и отвергнуть соблазны науки, он ответит вам: "Какая разница?" И я понимаю его. Почему русским можно пить кровь христианских младенцев, а ему нельзя? Почему в общее число геростратов русской культуры не включиться и еврейским дуракам? Какая разница, евреи помогали русским изводить своих лучших людей или французы? Разве кто-нибудь в обиде на французов за убийство Пушкина? Какая разница, кто будет

засорять русские мозги, если голоса своих пророков до них не доходят? И почему бы не дать тем евреям, для которых закон неписан и два тысячелетия прошли напрасно без следа, без вывода, присоединиться к молодому народу, безумствующему в своем идолопоклонстве и еще подлежащему Суду. Как Пуговичник Пера Гюнта, встречает их судьба на "перекрестке" и опять пускает в переплавку. Но, в отличие от Пера, они этого хотят. Слиться, затеряться, стать такими же, как все, стать более русскими, чем русские,— тень этого стремления ложится на многих. Даже на лучших, даже на великих...

Еврейская система ценностей, основанная на Библии и Талмуде, приближается не к практической системе какого-нибудь народа, а к теоретической системе, провозглашенной нашей цивилизацией и ставшей господствующей в мировой идеологии. Причины этого достаточно очевидны. Европейская цивилизация в значительной степени связана с Библией и христианством, а генетическая связь христианства и Библии с еврейством и, наоборот, определяющее влияние изучения Библии на еврейские традиции и образ мыслей не вызывают сомнений. Тот факт, что многие евреи никогда не держали в руках Библию, не меняет дела, так как в практике существенна не фразеология или даже идеология источника, а способ разрешения конфликтов, шаблон отношений между людьми, подход к новой ситуации — все то, что человек еще неосознанно заимствует (а, может быть, он уже зарождается с определенными предрасположениями), наблюдая отношения в семье, подражая героям своего детства, сочувствуя близким.

Я должен констатировать, что уже второй раз признаю влияние традиции на формирование своих взглядов. На этот раз — это еврейские традиции. Эти традиции

вовсе не находятся в непреодолимом разрыве с русской классикой. Идея народа-богоносца у Достоевского не случайно близка к идее богоизбранности евреев. Это не единственный пункт, в котором проявляется сходство, вернее, подобность идеологии этих народов. Причем эта подобность обнаруживается при сравнении русских идей не с современной жизнью евреев, а с их древней историей. Русские так же преувеличивают свое значение и значение своих идей в мире, как евреи в первые века, и если бы Иисус сошел на землю сегодня, он так же был бы гоним в России, и народ так же требовал бы его распятия. Остается надеяться, что их эгоизм и слепота, мания величия и бред исключительности так же окажутся оправданными.

* * *

Хотя практическое значение идеи Бога, которого якобы несет в себе русский мужик, — для этого мужика оказалось близким к нулю, сама идея кажется мне плодотворной. Внутренняя оценка ценностей, свой "гамбургский" счет, свой "Бог" в большей мере характеризуют человека, чем внешнее поведение. Во всяком случае, если специально не прилагать усилия, чтобы это внутреннее не проявилось во внешнем. Поэтому я настаиваю на том, что именно внутренняя оценка вещей и поступков, так сказать, внутренний идеальный образ действий, объединяет людей в народ, так же, как выбор определенных звукосочетаний определяет национальную музыку.

В том, что русский народ не оправдал надежд Достоевского, виноват сам Достоевский. Правда, он делит эту вину со многими предыдущими и последующими поколениями русской интеллигенции. Они нарушили вто-

рую заповедь, сотворив себе кумир из "простого народа", который сделался у них альфой и омегой всякого дела и импонировал отсутствием у него индивидуалистических и, следовательно, собственнических наклонностей. Однако это была обыкновенная аберрация. Простой народ в России не потому был лишен этих наклонностей, что знал или содержал в себе нечто высшее, а просто потому, что в своем развитии он еще не дошел до них. С распространением грамотности и после освобождения эти наклонности стали развиваться довольно бурно, так что даже ужаснули многих интеллигентов. Но эти-то страхи были преувеличены. Темноты и забитости русского мужика хватило еще на целый век и, по-видимому, с лихвой, так как и сейчас этого добра вволю.

Русское крестьянство в своей массе еще в девятнадцатом веке находилось на той стадии культурного развития, когда сознание в значительной мере является коллективным. Этот обязательный этап в развитии культуры был пройден древними греками, например, между УШ и У I веками до нашей эры. То есть между временами (и мифологическим сознанием соответственно) Гомера и временем первых лириков.

Такая общинная психология оставила следы и в Ветхом Завете и в западноевропейском средневековом эпосе и является таким же признаком возраста народа, как гротескно преувеличенное представление о своей физической мощи является признаком раннего детства. Тому, кто помнит, что одновременно с нами на земле живут и людоеды, что еще сейчас есть племена, живущие охотой с бумерангом, и народы, занимающиеся земледелием с помощью мотыг, эта мысль не может показаться слишком смелой. Невероятным кажется сосуществование высокого технического уровня с архаичным сознанием. Но нельзя забывать, что техническое окружение

простого человека не включает всех достижений современности, и вещи, окружающие человека в деревне (в России, по крайней мере), не изменяются веками.

Еще в 1955 году в 500 км от Москвы я видел лапти, домотканные рубахи, самодельные мельницы из деревянных колод, деревянные крупорушки. Общинное, неиндивидуалистическое сознание вижу и по сию пору повсеместно: ("А я что? Я — как все!")

Естественно, что в таком коллективизированном сознании присутствовал и религиозный элемент.

Богом русского мужика был "мир" — общество. Это довольно явно выступает в русских народных традициях. Лирическая исповедь русского героя всегда начинается словами "Люди добрые" и обращена к обществу — носителю справедливости и вместилищу нормы.

И сам Достоевский не обошел этой русской особенности. Идея публичного покаяния, обретения какого-то эмоционального единства с народом, повинности перед людьми, потери личного "я" все время всплывает в романах Достоевского как единственный надежный путь к Богу.

Но это очень своеобразный путь к Богу, и во всяком случае не евангельский.

Насколько этот "Бог" отличается от европейского, который познается только в уединении свободной душой, видно, если сравнить эти идеи с лютеровским: "Верую так и не могу иначе!" Пожалуй, Достоевский мог бы оценить Лютера как Люцифера и доказать, что это в нем говорит гордыня и оторванность от народной жизни. Пожил бы с народом и стал бы верить, "как все".

В то время, как в Европе христианство служило утверждению ценностей отдельной души (так понял христианство и Пастернак) и путем к раскрепощению, в России всегда оказывалось, что смирение перед Богом

каким-то образом сводится к смирению перед людьми, примирению с обстоятельствами, подчинению своей личности благотворному влиянию "мира". "Глас народа — глас Божий" — это совсем не христианская поговорка. Она по духу ближе к Ветхому Завету. Русский Бог, подобно ветхозаветному, есть Бог народа и содержится в народе и земных делах ("Трудом добудь Бога!").

А ведь исконный Бог Евангелия — только в верующем сердце. "И милостыню свою сотвори в тайне!"

Таким образом, Россия — носительница особой конформистской ереси в христианстве. Быть может, только так — сообща, миром — дикари XII-XVII вв. могли принять сложную и далекую от их практики идею Христа. Причем они вынуждены были эту (по духу антиобрядную) идею формализовать и закрепить в обрядах, узкопонимаемых даже по сравнению с мертвым формализмом Византии. Эти обряды сами явились объединяющим моментом до такой степени, что ко времени их полного закрепления в народе покушение на привычную обрядность, например, у раскольников, стало равносильно покушению на душу и оказалось достаточным поводом для такого антихристианского дела, как массовое самосожжение. Даже такое индивидуальное действие, как самоубийство, стало коллективным. Только древняя история евреев знает аналогичные случаи. Причем мне кажется, что, по мере укрепления христианства в народе, сам Христос все больше отступал на второй план перед собственно Церковью и Обществом.

Когда распалось это коллективное сознание (вернее, его материальная основа — сельская община), выпала и идея Бога, непосильная индивидууму, который только-только начал ходить самостоятельно и очень от этого страдал.

Богостроительные поиски русской интеллигенции начала XX века, по-видимому, и есть теоретический путь к индивидуальному Богу и естественный результат распада конформистской святыни. Это момент, который мог стать для России равнозначным Реформации и Ренессансу. Момент индивидуального творческого овладения идеологией является необходимым условием цивилизации народа, и никакая внешняя цивилизующая сила не сможет заменить этого внутреннего переживания. Общинное православие должно было разрушиться и родить новое христианство, дающее простор каждой душе и в то же время связывающее зверские инстинкты.

Но разрушение происходило быстрее, чем строительство, и ощущение потери оказалось в массе сильней, чем ощущение внутреннего роста.

То же было в России и в экономической сфере в 60-х годах X1X в., когда в сознании крестьянства потеря каких-то материальных преимуществ оказалась важней приобретения свободы и юридической правомочности. Тогда возникла так называемая первая революционная ситуация.

Тот факт, что "революционная ситуация" возникла не до освобождения, а после, должен был бы насторожить историка. Косное сознание отвечает бунтом на раскрепощение, и, таким образом, в этом бунте содержится не революция, а реакция на революцию. Поэтому, когда вторая революционная ситуация привела к торжеству советской власти, мы (интеллигенты) должны были бы заметить в победоносном бунте 1918 г. реакцию на демократизм 1917 г., на освобождение крестьянина от общины в 1910 г., на конституционные достижения 1905 г. и на промышленный расцвет 90-х гг.

Именно тогда, в 80-90 гг., одновременно с разрушением общины и народнической идеологии, как реакция

на необходимость индивидуальных поисков истины возникла (не из марксизма, а одновременно с ним) идея нового "мира", которая должна была устроить русского мужика, измученного самостоятельностью.

Коммунизм многими был принят как новая религия, и соблазн его состоял в том, что он возвращал сознанию его былой коллективный характер. Непосильная ответственность, которая ложилась на мужчину в связи с необходимостью прокормить себя и свою семью, да еще лично решать вопросы совести, была снята с русского человека "классом", "партией", "коллективом", "государством". И слабый русский интеллигент, который маялся своим неучастием в старом "миру", теперь расцвел и почувствовал возможность желанного синтеза.

Так была создана русская ересь в марксизме. Вместо реальных достижений Маркса массой были в основном усвоены его предрассудки и терминологическая обрядность. Заметим, что такие религиозные мыслители, как С. Булгаков и Н. Бердяев, тоже были марксистами. Но, будучи нонконформистами, они искали идеологического освобождения, а не закрепощения, и поэтому их марксизм не превратился во "всепобеждающее учение", в догму. Главное же, что было взято у Маркса крестьянской Россией, — идея пролетариата (!), "класса-гегемона", причем "дело не в том, что в данный исторический момент хотят сделать отдельные пролетарии или даже целые группы, а что он (пролетариат) по исторической необходимости как класс должен совершить". Таким образом, наиболее ценным в марксизме для русского ума оказалось лишение свободы воли, замена ее "исторической необходимостью" и установление коллективной ответственности.

Этот общинный дух очень ясно ощущается в русском представлении о коммунизме и в русском представле-

нии о партийности, в отличие от идеологии иностранцев, которые могут быть коммунистами, но даже не догадываются о том, что это значит у нас. Им не приходит в голову, что интимные вопросы совести могут рассматриваться с партийной точки зрения, в то время как у нас это основной определяющий момент. Разница между русскими и французскими коммунистами гораздо больше, чем между русскими социал-демократами и народниками, и даже славянофилами. Главное у всех последних — это духовное сохранение общины.

Теперь, когда эта новая община разрушается (а она никогда не была столь прочной и истовой, как настоящая), простой русский человек представляет собой страшное зрелище. Вряд ли еще где-нибудь в истории такая степень бездуховности и одичания сосуществовала с таким техническим и общеобразовательным уровнем. Так как преемственность нарушена, да и цензура не дремлет, вряд ли мы дождемся нового Бердяева или Толстого. Современный русский интеллигент ищет духовного освобождения на Западе или в тщетных попытках вернуться к идейной атмосфере начала века, но это так же неплодотворно, как возрождение слова "сударь", предлагаемое В. Солоухиным. Реальный путь развития, приемлемый для большинства и вместе с тем обеспечивающий достаточные перспективы, — реформация существующей полумарксистской идеологии. По-видимому, именно в этом направлении будет развиваться российская мысль, как бы это ни было неприятно представителям "высоколобой интеллигенции".

Вопрос ведь не в том, что было бы лучше (может, лучше всего было бы быть на уровне последних достижений Запада), а в том, как будет происходить на самом деле. И уже происходит.

* * *

Таким образом мы видели, что независимо от оболочки (христианство или марксизм) идеология, становясь популярной в России, приобретает явно выраженный закрепощающий, консервативно-конформистский характер.

У нас нет никаких данных, которые позволили бы судить о том, что первично: русская национальная отсталость или этот национальный психологический облик. Но ясно, что без учета этих определяющих факторов — конформизма и инертности — мы никогда ничего не поймем не только в русской истории, но и в русской современности. В частности, здесь корень анти — и филосемитизма.

Каков бы ни был истинный генотипный облик еврея, по отношению к русскому народу он всегда выступает как нонконформистский и подвижный элемент.

Конечно, очень важную роль в психологическом облике народа играет исходный генетический материал. Несомненно, что многие особенности поведения евреев — особенности генотипа. Но так как большую часть таких утверждений невозможно проверить, а соответствующие качества, конечно, встречаются и у представителей других народов, вопрос о происхождении самих качеств мы оставим в стороне. Это тот икс, которого мы никогда не знаем, хотя, возможно, будущие исследования и прольют свет на исходные генотипические особенности. Сейчас мы можем лишь констатировать, что распределение психологических качеств у разных народов разное. Так, если на оси ординат откладывать встречаемость определенного свойства, а на оси абсцисс — интенсивность этого свойства, мы получим различное расположение максимума этой функции у различных групп на-

селения и, тем более, у разных народов. Например, если в качестве исследуемого свойства выбрать отношение к собственному "я", чувство самоутверждения, стремление к максимальному проявлению себя, то, несомненно, максимум этой функции у русских евреев будет далеко продвинут по оси абсцисс по сравнению с русским народом. Грубо говоря, если шкала начинается с полного уничтожения и стремления стушеваться, доходящего до кретинизма, а кончается патологическими формами мании величия, то наиболее распространенный тип еврея расположен ближе к концу шкалы, чем соответствующий тип русского. При этом, конечно, вовсе неясно, объясняется ли это особым социальным положением евреев в России или заложено в них при рождении.

Разумеется, подобная же разница обнаруживается при сравнении психологических типов крестьян и горожан, рабочих и интеллигенции, инженеров и артистов. Поэтому само по себе такое сравнение немногого стоит, если не приведены в соответствие другие факторы. Но эти другие факторы сами также могут быть изображены в виде аналогичных графиков, причем высота и положение максимума будут различными для различных свойств. Полную характеристику народа (и любой группы) может дать, совокупность сведений о таких кривых, записанная в виде функций "встречаемости" (вероятности) от интенсивности соответствующих свойств. Таким образом, такая функция для каждого народа должна быть многомерной поверхностью от многих переменных. Только при учете их всех (а совершенно неясно, сколько таких характеристик нужно взять, чтобы вполне охарактеризовать психологический тип) мы получаем истинные различия между народными типами. Даже и тогда остается вероятность (скорее, достоверность), что вид этой функции изменяется со временем

и в зависимости от предыстории данного народа. Только обладание таким социологическим материалом за много лет (это очень большая по объему работа, так как необходимы достаточно представительные выборки) могло бы дать исследователю надежные основания для умозаключения по поводу психологии народов.

Однако интуиция суммирует за нас результаты непроизвольных социологических опросов, объем и направленность выборки, так что наши мозги в какой-то степени уже проделали эту работу. К сожалению, мнение большинства людей определяется не тем, что они видят, а тем, что слышат (ожидают), и потому научная достоверность таких заключений равна нулю.

Тем не менее в сумме таких оценок обычно есть рациональное зерно, которое, будучи переведено на однозначный язык, дает представление об объективной истине. Общие места, например, об изворотливости, наглости и хитрости евреев обозначают выраженное в грубой форме правильное мнение, что у этого народа максимумы функций, о которых я говорил раньше, продвинуты по соответствующим свойствам: нонконформизм, комбинаторские способности, стратегическая и тактическая одаренность, — в сторону значительно большей интенсивности, чем у представителей народов, которым принадлежит это мнение. Следовательно, такого рода оценки дают сведения лишь об относительном качестве народов. Так, распространенное в России мнение о хитрости украинцев ("хитрый хохол"), которые на самом деле совершенно не выделяются в этом смысле на общеевропейском фоне (напротив, украинцы склонны считать хитрыми поляков), безусловно свидетельствует о повышенной простоватости распространенного русского национального типа.

В этих последних рассуждениях, которые достаточно тривиальны, я хотел бы подчеркнуть важный для меня момент — многомерность функции, характеризующей социологическое явление. Именно эта многомерность (не всегда она так очевидно выступает, как в этом случае, но всегда наличествует) и создает то впечатление невообразимой сложности и чуть ли не непознаваемости социальных явлений по сравнению с другими природными явлениями, которое отталкивает исследователей.

В физическом мире мы тоже встречаем только многопараметрические задачи, но часто нам удается зафиксировать все параметры, кроме одного. Тогда мы говорим, что имеем дело с правильно поставленным экспериментом. Когда такие простые случаи исчерпываются, мы оказываемся перед лицом кризиса нашей науки. История же дает нам только случаи одновременного изменения нескольких параметров, и в зависимости от предшествующего соотношения этих параметров мы можем на одно и то же действие получить совершенно разные ответы.

Возможно, именно это принципиальное обстоятельство проявилось в нашем деле, когда в ответ на апелляцию в Верховном Суде СССР нам заменили приговор на условный, несмотря на то, что двумя месяцами раньше Верховный Суд этот приговор утвердил.

Меня не пришлось уговаривать, и 16 км от лагеря до железнодорожной станции я пробежал бегом. Этот же путь в противоположном направлении 4 месяца назад показался мне непосильным: я изнемогал, ловил ртом капли дождя, ложился на землю, в кровь сбил ноги и пришел в полубессознательном состоянии.

Ощущение легкости, с которой я пробежал эти 16 км до станции, потом не оставляло меня несколько лет на воле и придавало силы и вкус к жизни в годы, когда мрачное отчаяние казалось самым подходящим умонастроением.

Но точно ли те годы были хуже этих? Безнадежная стабильность бесчеловечного режима казалась очевидной, а полная дезинформация населения создавала иллюзию хозяйственной прочности. Теперь частичная информированность населения создает уверенность (быть может, также преувеличенную) в полном хозяйственном крахе, а непоследовательность и гротескная нелепость режима кажется очевидным признаком его временности. И связанное с надеждами на эту временность самочувствие оказалось столь же скверным, если не хуже того, что раньше.

Действительно, нужно быть Герострaтом, чтобы радоваться хозяйственному краху, который ведет к голоду и разорению, и просто дураком, чтобы радоваться тому, что нестабильное и непоследовательное руководство сменится последовательно людоедским. А, по-видимому, никаким иным оно смениться и не может. Правда, появилась уверенность (основанная, впрочем, на статистике, а не на законе), что теперь "без дела не посадят". Но зато прорыв информации через дряхлые плотины создал невозможность остаться "без дела". Писатель теперь не может писать, режиссер не может снимать, инженер не может строить, адвокат не может защищать, не приходя в противоречие либо с системой, либо с профессиональными критериями. Причем, воспоминание, что это сравнительно легко удавалось в 40-е — 50-е годы, не помогает, ибо вернуться к незнанию, к местным критериям, к административным оценкам для профессионалов невозможно.

То, что прошлое было осуждено, создало в сознании разрушительный релятивизм, который необратим, как всякий рост энтропии. Стоит открыть разделительный клапан, и жидкости смешаются, но попробуй их теперь разделить! Раз однажды могло оказаться неправильным все, что считалось правильным, значит, может и опять так случиться. А тогда, значит, нужно ориентироваться на другие критерии! Советский человек не зашел еще так далеко, чтобы ориентироваться на общечеловеческие ценности, но роль ближайших профессиональных критериев неизмеримо выросла одновременно с падением авторитета идеологических и административных оценок.

Разумеется, все это относится только к сравнительно небольшому слою населения, который достаточно чувствителен, чтобы ощущать эти нюансы. Вообще, вследствие полного неведения относительно основных фондов и прочего, мы можем судить только об изменениях, и потому каждый раз экстраполируем тенденцию до полного воплощения, когда это, вообще говоря, неоправдано.

Общий характер возрастания или убывания может сохраняться у функции, несмотря на некоторые колебания в ту или иную сторону.

Так как общество — это очень большая связанная система, общий рост в нем может сопровождаться падением в какой-то части и наоборот. Общий рост ребенка в 7—10 лет сопровождается выпадением зубов, развитие плода часто сопровождается временной умственной деградацией беременной женщины, замедление роста в 18—20 лет происходит одновременно с бурным развитием зубов мудрости.

В. Ростоу ("Стадии экономического роста", 1957) приводит данные, которые показывают, что эконо-

мический рост в России с 1880 по 1955 год практически непрерывен и равномерно на 50 лет отстает от США, несмотря на разруху 20-х и легендарные темпы 30-х годов. Ни разруха, ни пятилетки ничего не изменили в этом соотношении, которое воспроизводится в течение столетия независимо от идеологии и политики. Если даже великие революции и пятилетки не слишком изменяют общие тенденции в нашей стране, то, конечно, идейные сдвиги и общественные течения, о которых столько говорят и пишут, оставляют еще более мелкую рябь на поверхности жизни.

С. Степняк—Кравчинский приводит цифру подписчиков "Отечественных записок" — 10000. Это огромный тираж по тем временам, когда вообще подписчиков разных серьезных журналов было 40—50 тысяч. Теперь "Новый мир" имеет около 150000 подписчиков и примерно по стольку же "Октябрь", "Знамя" и "Москва". Таким образом, общее число подписчиков толстых журналов не превышает 600000 человек.

Итак, мы видим, что в 80-х годах XIX века около 0,05% населения России (полное население — 108 млн.) интересовалось литературой и общественно-политическими вопросами, и только 1/5 этого числа была настроена либерально-демократически (конечно, число подписчиков журналов не так прямо связано с числом граждански активных членов общества, но для таких грубых оценок даже изменение числа в 10 раз не изменит вывода). Теперь число этих активистов (через 90 лет) выросло до 0,3% населения, а демократы составляют по-прежнему едва ли 1/5 от этого числа. Разумеется, это можно назвать прогрессом,особенно если учесть, что за счет чтения в библиотеках и пр. цифра, внушающая надежду, может увеличиться до 1% или даже до 3%. Но из

этого подсчета видно, как далеки все идейные и тому подобные течения от того, чтобы затронуть основной уровень.

Хотя этот основной уровень содержит очень разные тенденции и никоим образом не составляет идейного, экономического или еще какого-нибудь единства, он своей инертностью всегда противостоит подвижной части населения и составляет некое отрицательное единство, подобно гигантским и пустым просторам Сибири, противостоящим Европейской части СССР.

Этот тривиальный, но очень важный момент незримым образом определяет всю нашу жизнь, потому что именно эти 97 или 99,7% населения проявляют свое дьявольское терпение и ангельскую кротость, которые необходимы для существования наших и предшествующих режимов. Хотя по коренным вопросам эти 99% не согласны друг с другом, всегда находится такой квазивопрос, по которому 99% единогласно равнодушны или даже положительно равнодушны. От имени этих молчаливых процентов разоблачают абстрактную живопись или оккупируют Чехословакию.

Много поколений интеллигентов и революционеров подсказывают мне: "Они обмануты! Их именем творятся грязные дела, но они не виноваты! Они не знают этого!"

Нет! Они знают! Я утверждаю, что наше правительство держится не потому, что оно обманывает народ, а потому что оно разделяет верования народа и его предрассудки.

В том, что мы называем лицемерием нашей пропаганды, в том, что вопреки общеизвестному во время эпидемии холеры слово "холера" заменяют выражением "желудочные заболевания", в том, что в биографии делегата не упоминается, на ком он женат, а в биографии поэта или ученого замалчивается его самоубий-

ство или гибель в тюрьме, в том, что мы вынуждены читать между строк и привыкать, что пишется не так, как говорится, заключено не злонамеренное извращение, а народная традиция. В таких умолчаниях наш читатель видит уважение к себе. Противоположный образ действий простой человек в России воспринял бы как цинизм и возмутительную распущенность. Западная непринужденность кажется нашим людям непристойной и кажется такой без всякого давления сверху, от души.

Незачем обманывать себя. Действия правительства, даже самые зверские, совершаются так, что они в основном не оскорбляют нравственные чувства народа, а повышают его самоуважение и соответствуют исторической необходимости, как он ее понимает. Например, то, что Хрущев вызвал Карибский кризис и поставил человечество на край катастрофы, то, что он регулярно шельмовал деятелей культуры и заставлял сеять кукурузу, беззлобно ему прощалось. Но, наградив Насера званием Героя Советского Союза, он умудрился-таки задеть национальную честь и серьезно уронил себя в общественном мнении. Эта мелочь вменялась ему наряду с глобальными авантюрами и даже впереди них. Это происходит не потому, что народ не боится войны и катастрофы, а потому что он вместе с правительством убежден в необходимости, "защищаясь", бороться со всем миром и играть первостепенную роль в мировой политике. Интеллигент, который всерьез начнет объяснять, что нам не по карману "почетная" роль сверхдержавы и что не наше дело наводить порядки во всем мире, рискует быть избитым без всякого вмешательства государственных органов.

Поэтому у нашей интеллигенции, которая борется за свои права, сейчас нет того традиционного оправдания, которое так помогало 100 лет назад преодолеть

моральное препятствие и страх смерти. Все казалось дозволенным перед лицом народного горя. Но никакого народного горя мы сейчас не наблюдаем, и интеллигенция — самый несчастный и гонимый класс в советском обществе. Она не удовлетворена ни морально (ее роль в решении судеб страны совершенно не пропорциональна ее численной и технической мощи), ни материально (уровень жизни среднего интеллигента не превышает уровня жизни рабочего, а работа требует от него несомненно большего), а условия ее профессиональной деятельности постоянно сталкивают ее с острыми углами режима, не приспособленного к творческой жизни и современному производству. Несмотря на эту очевидную неудовлетворенность, интеллигенции не за что бороться, пока она не осознает себя самое как субъект истории, отказавшись от роли "прослойки, обслуживающей господствующий класс", которую навязывает ей привычная в России идеология.

* *

"Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский, неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень".

О. Мандельштам, "XIX век".

Я был очень далек от этих мыслей, когда, выйдя из тюрьмы, пытался воплотить в жизнь свое представление о достойном нравственном облике молодого человека периода перехода от социализма к коммунизму.

Не прошло и года, как для этого воплощения опять потребовалась самая жестокая борьба — на этот раз легальная.

В ходе этой борьбы (а нас было несколько, причем опять почему-то в большинстве евреи) мы собрали уникальные материалы о жизни молодежи провинциального города. У нас были дневники, журналы-альбомы с экспромтами гостей, флирт (флирт — это игра, во время которой обмениваются пошлыми сентенциями, отпечатанными на специальных карточках), записки "почты", "мудрые мысли и изречения", выписанные сверстниками из книг, и т. д. Все это мы использовали для своего грандиозного похода против "мещанства и пошлости", который начался обстоятельным докладом на школьном вечере (дело было в десятом классе), а окончился серией диспутов во всех школах города, возникновением целого движения, изданием рукописного журнала и наконец вызовом всех участников в КГБ.

Для моего развития была особенно важна не столько фатальность заключительного возвращения в КГБ, сколько та поразительная легкость, с которой нам удалось возмутить и поднять на борьбу за идейность и "истинно советский" революционный антиформалистский дух чуть ли не всю молодежь города, и легкость не меньшая, с которой эта молодежь спустя месяц разоблачала, клеймила и проклинала нас за "попытку насаждения пошлости и безыдейности". При этом многие ребята, заклеймив нас, присаживались рядом в зале и шептали: "Не дрейфь! Что поделаешь — так надо! Может, вас еще не выгонят". Или: "Ты не обижайся, сам видишь, иначе нельзя..." и т. д. Легкость, с которой эти люди поддавались идейному влиянию, чрезвычайно легкое отношение ко лжи наводили на мысль, что идеология и прочее — вещи вообще второстепенные для этих людей и воспринимаются ими как некое украшение жизни, вовсе не обязательное само по себе.

Причины обратного движения были смехотворны. Одна из самых ненавистных учительниц в городе по прозвищу "Щука" была задета резким тоном диспута и остроумно "срезана" кем-то из ребят в публичной полемике. Она написала донос в КГБ, приложив к нему записку из публики, в которой имя Сталина употреблялось без должного пиетета (именно без пиетета, а не в отрицательном или ругательном смысле). Одновременно она обратилась в обком, утверждая, что в городе развивается "безбожное" и антисоветское движение, которое грозит падением устоев и нарушением авторитета учителей. Обком стал проверять и запросил прежде всего горком комсомола: "Кто разрешил?" Если бы секретарь горкома, который не только разрешил, но и поощрял, сказал бы правду, все кончилось бы прекрасно. Но он испугался и сказал: "Не знаю". Ему велели: "Выясни!" Так как выяснять ему было нечего, он обратился к нижестоящим с тем же вопросом: "Кто разрешил?" Нижестоящие, которым разрешил именно он, не могли понять его вопроса иначе как осуждение их за это и, конечно, повели обратную кампанию. Так как при этом вопрос "Кто разрешил?" оставался без ответа, никто не хотел быть козлом отпущения, — им всем пришлось отрицать свое участие в этом деле и приписывать нам обман дирекции и партийных органов.

От этого наше преступление разрослось и достигло предела, за которым оно переставало быть идейным и становилось фактическим, так что в конце концов мы попали в КГБ. Хорошо помню ложновдохновенное лицо маленького секретаря горкома с пышной "молодежной" шевелюрой, говорящего: "Добро", дружески пожимающего нам руки, и столь же вдохновенное, как бы прозревшее это лицо в президиуме шельмующего

собрания. Помню тупое, рябоватое, с черными зубами лицо секретаря райкома комсомола, когда он говорил: "Работайте, ребята! Молодцы!" И потом пузырящуюся слюну на его губах и трясущиеся крахмальные манжеты на рабочих руках, воздетых горе, когда, разоблачая наше коварство, он сопоставлял его с энтузиазмом (так у него получалось) остальных комсомольцев. И то, как он добродушно, морщась от неудобства, махнул рукой и сказал: "Да ладно, ребята! Чего там!" — когда после собрания мы подошли и пристыдили его.

В отличие от собраний, где нас клеймили почем зря наши враги и не менее наши друзья (в надежде, что это смягчит наказание) и где нас принуждали каяться, в КГБ очень спокойно отнеслись к нашей деятельности, не требовали покаяния и не взывали к оскорбленной нами тени Александра Матросова и Зои Космодемьянской. Они только просили опознать почерк крамольной записки (смотри выше) и велели мне разыскать автора в доказательство искренности моих намерений. Такое доказательство было необходимо, чтобы показать, что моя деятельность здесь не была продолжением моей прошлой преступной деятельности. Этого доказательства я им не дал, и мне до сих пор интересно, знает ли этот человек, какой опасности он подвергался.

На две вещи я хотел бы обратить внимание в этой истории. Во-первых, создавалось впечатление, что всех интересуют только мотивы моей деятельности, а не ее существо, — как будто она проходила не у всех на виду, а в глубоком подполье. Если, например, я был искренен, то эту деятельность можно было квалифицировать как терпимую или, в крайнем случае, как ошибочную, что тоже простительно. Если же под маской защиты советской власти я продолжал свои старые штуки (?!), то деятельность эту следовало считать вредо-

носной. При этом в КГБ признавали ее незначительной и потому мало интересной, но комсомольские вожди соревновались между собой в формулировках, наиболее ярко оттеняющих гнусность и чудовищную скрытую опасность наших выступлений. Напомню, что они сводились в основном к осуждению пошлого флирта, глупых альбомов и опереточной музыки и к прославлению Маяковского, "Патетической сонаты" и т. п. Нужно сказать, что и многие наши товарищи склонялись к признанию порочности наших идей, раз один из носителей их (а именно я) — не честный советский школьник, а бывший враг народа. Был даже такой аргумент: "Если бы оперетта была вредной, ее бы запретили".

Таким образом, выяснилось, что идеи не имеют собственной ценности и не воздействуют на умы своим неотразимым содержанием, а принимаются людьми по-разному, в зависимости от того, в какой форме и кто их высказывает.

Сколько раз в качестве возражения я слышал этот аргумент: "Подумай, кому на руку эти мысли?" Или: "На чью мельницу льет воду такая идеология?" Впоследствии, когда мне случалось высказывать мысли, лояльные по отношению к правительству, мои революционные друзья с тем же пылом, что и государственные чиновники или официозные пропагандисты взывали: "Остановись! Ведь и "они" говорят то же самое! Неужели ты с "ними" заодно?"

Я хотел бы быть заодно только с правдой, но в этой стране и правые и левые сговорились, будто есть "наша правда" и "чужая", и дружно закрывают глаза на то, что правда — истина, далекая от их разногласий и пугающая обе стороны, — общая и ничья.

Во-вторых, все мои товарищи и учителя считали, что мы должны покаяться для смягчения своей участи.

Ребята, которые поливали нас грязью, говорили потом, что это нужно, чтобы отвести от нас удар. Мы должны были признать свою несуществующую вину, чтобы тем самым заслужить прощение за все.

Это казалось понятным и даже само собой разумеющимся почти всем нашим сверстникам. По-видимому, двоедушие, разъедающее и отравляющее всю нашу взрослую жизнь, было заложено в наши сердца еще в школьные годы. Когда в пятом классе меня убеждали отбросить "чувство ложного товарищества" и "честно" сказать директору, кто лазил со мной на крышу школы (обещая, впрочем, что мои показания останутся в тайне), я ясно почувствовал слабое место в этой демагогии. В то время все мои товарищи тоже предпочитали "ложное товарищество" истинному предательству. Но где-то между пятым и десятым классами были посеяны ядовитые сомнения.

Эти сомнения связаны с уже упомянутой идеей двух правд, двух гуманизмов и в конечном итоге с применением логики к моральным вопросам. Логика — очень доступный и сравнительно простой инструмент, которым человек способен овладеть в раннем возрасте. Опыты по преподаванию алгебры в первых классах школы показали, что ребенок легко усваивает любую формальную систему. Но он не получает никакого представления об области применимости усвоенных формальных соотношений. В самом их содержании нет никакого намека на эту область. Напротив, логические и математические соотношения претендуют на всеобщность, так как формулируются для идеализированных объектов. Вопрос о степени идеализации, применимости модели и соответственно о компетентности логических заключений в отношении реальных объектов и ситуаций является глубоко содержательным, философским. Следовательно,

решение его зависит от жизненного опыта и мировоззренческих факторов, которые в сознании ребенка не присутствуют. Поэтому, когда в достаточно раннем возрасте ребенку объясняют, что морально все, что полезно для рабочего класса, он находит это логичным и незаметно для себя закладывает в основу своего будущего мировоззрения уверенность в безграничной применимости логических построений и пренебрежение к человеческим чувствам в сравнении с критерием общей пользы. От этой общей пользы вовсе не такой уж далекий путь до своей собственной. Важно только научиться из этого общего кого-нибудь исключать, а затем этот механизм будет действовать безотказно, применяясь к обстоятельствам.

Развивая эту систему взглядов, можно, вообще говоря, прийти к необходимости совершать поступки, которые чувство, более консервативное и воспитанное до логики, не приемлет как низкие. Например, к отмене моральных ограничений по отношению к классовому врагу (а потом и врагу вообще), к апологии Павлика Морозова и к лживым покаяниям.

Для многих моих сверстников-интеллигентов такое противоречие есть аргумент против логики, рационализма, утилитарности и против науки вообще. Мне кажется, что это — реакция людей, которые никогда не умели эту логику применять. Заставь дурака Богу молиться. Ведь он и тут лоб себе разобьет! Они применяли рационалистические критерии несамостоятельно и теперь так же без критики от них отказываются. Мне вспоминается надпись на дверях оружейного магазина, которую вывесил хозяин в разгар кампании за запрещение продажи оружия в США: "Ружья не убивают людей. Людей убивают люди". Этот стихийный философ очень правильно определил место техники, а также вообще логики и нау-

ки в жизни человека. Плохого человека наука не способна сделать хорошим. Но и хорошего человека никакая наука не сделает плохим. Ружье не рождает позыва к убийству. Реальная последовательность обратная. Во времена каменного топора убийства совершались чаще, и логически вооруженные демагоги прошлого имели больше шансов на успех. Зло во все времена рождается внутри человека и безразлично к средству, которое подсовывает современность. Разумеется, это относится лишь к принципу, так как техническая разница между убийством с помощью каменного топора и с помощью ружья, конечно, есть. Однако ведь и защитные средства развиваются пропорционально. Так же как убийце с винтовкой противостоит не человек с каменным топором, а разветвленная система общественной защиты, так же и логическому оболваниванию противостоит не безграмотный крестьянин, а вся система современного образования, которое для каждой логики дает свою противологику.

Если бы люди всегда помнили об области и степени применимости научных сведений и логических выкладок, вопрос о кризисе рационализма не мог бы возникнуть.

В действительности область безусловной применимости рационального весьма узка и сводится едва ли не только к множеству, заполненному порождениями самого человеческого разума. Расширяя эту область, мы всегда сверяемся с экспериментом и должны быть готовы отбросить логику в пользу опыта. Никто не знает этого лучше физиков, тем не менее именно среди физиков рационализм продолжает оставаться живым умонастроением.

Причины этого состоят в том, что физики всегда заранее предвидят ограничения рациональных построений

и не приходят к крушению в случае, если эти построения не оправдываются. Логика — это способ правильного (во всяком случае, единообразного) перехода от одних утверждений к другим. Правильность самих исходных утверждений для нее значения не имеет. Это все равно, что железная дорога, соединяющая Москву и Ленинград. Она является абсолютным благом, и тот факт, что нас, быть может, не устраивает жизнь ни в Москве, ни в Ленинграде, не означает необходимости выступать против дорог вообще.

Так как логика представляет собой только связь, нелепо предъявлять ей те претензии, которые на самом деле относятся к исходным утверждениям, аксиомам. Эти последние не имеют никакого отношения к логике и устанавливаются волевым актом (он может опираться на практические соображения, либо на слепую веру — это совершенно другой вопрос). Этот волевой акт и определяет содержательную часть концепции. К сожалению,слишком многие заимствуют эти и сходные аксиомы из окружения, незаметно для самих себя (так что для них это не волевой акт, а акт безволия). Будучи в конце концов недовольны результатом и не обладая способностью усомниться в аксиомах, такие мыслители все свое негодование обращают на путь, который закономерно привел их из А в Б. Они хотели бы такого пути, который привел бы их из А в Х или любой другой пункт, который они пожелают. Но для этого нужно либо придумать специальную логику (и некоторые это делают: "Верую, ибо нелепо!"), либо жить в хаотическом мире, как Кафка.

В любом случае это означает — отказаться от того немногого, что нашей цивилизацией достигнуто, и вместе с грязной водой выплеснуть любимого ребенка.

Смерть Ландау заставила меня как-то обдумать результаты его труда и оценить, что он внес в человеческую культуру. Мне кажется, что главное в его жизни — не профессиональные успехи и не научный универсализм, который поражал современников, а то, что он был блестящим представителем и адептом рационализма в тяжелое для этого умонастроения время. Причем его влияние только по внешности кажется научным. Фактически он сформулировал мировоззрение целого поколения интеллигентов-техников.

Всякий выдающийся человек хочет представить свое умонастроение как всеобъемлющее и универсальное, и Ландау, конечно, перехлестывал в своем рационализме, но посреди разгула туманных идей и мутных представлений его критический разум и здравый смысл воспринимались как освобождение. В этом заключен секрет его юношества и молодой задор его школы (превратившейся у некоторых представителей в заносчивость всезнаек).

Только ум, ориентированный на всемогущество, может служить источником такого юного энтузиазма. В определенном возрасте мы все бываем во власти этого умонастроения, когда в конце дня чувствуешь, насколько стал умнее за этот день, и предчувствуешь, насколько станешь умнее завтра. Это ощущение безграничных возможностей и есть счастье. Двойное счастье — сохранить это чувство на всю жизнь.

Доверие к разуму и ощущение, что конструктивными усилиями можно решить все проблемы, вообще говоря, характерно для евреев. Часто они поэтому производят впечатление какой-то незрелости. Наивный энтузиазм, невзрослый идеализм часто сопутствуют евреям. У недалеких людей такие качества могут выглядеть

смешно и глупо, но в нашей цивилизации в целом движение вперед происходит именно благодаря этой вере во всемогущество разума и всепроникающему исследовательскому инстинкту. Поэтому не удивительно, что в этом движении евреи играют такую непропорционально большую роль. У нас это привело к почти поголовному участию евреев в революции, чего до сих пор не могут простить наши русофильские друзья.

А простить уже пора бы, так как история, не надеясь на слабые человеческие силы, сама позаботилась о воздаяниях. Евреи в России весь свой энтузиазм и наивность вложили в русскую, якобы интернациональную, революцию. Весь свой догматизм и начетничество потратили на искоренение "мелкобуржуазной стихии", т. е. собственных корней. Весь темперамент и талант они употребили на построение нерушимой государственной организации, приступившей к их частичному (1937 год) и наконец планомерному вытеснению и истреблению в 1949 году. Ничего добавить к этому идейный антисемитизм уже не может. Но можно, проследив за диалектическим превращением идеи в свою противоположность по мере ее осуществления, извлечь урок для грядущего.

* * *

Как объяснить молодому человеку, что ясная идея приобретает совершенно парадоксальную форму в реальном человеческом обществе? Как удержать от политического радикализма человека, который уже понимает, как должно быть, но еще не понимает, что так не будет, потому что Революция делается руками Рабов? Как остановить юношу в его стремлении выпустить джина

из бутылки? Эту отеческую функцию по отношению ко мне выполнило КГБ...

Полковник Беляев принял мою маму, напуганную моими вызовами, и без обиняков сказал ей: "У вас очень способный сын. Если он пойдет по гуманитарной линии, мы все равно его посадим. Пусть он занимается физикой, математикой. Там так много нерешенных проблем, такой простор для инициативы". Это был доброжелательный человек, серьезно относившийся к своему служебному долгу.

Я хочу быть справедливым. Первый раз в КГБ тоже человечно отнеслись ко мне. Начиная с майора и выше, все они были очень корректны со мной и не выходили за пределы необходимого. К тому же они выглядели вполне цивилизованными людьми. Этого нельзя было сказать о лейтенантах, которым с трудом удавалось удержаться от хватательных движений во время допросов. Но им поручали только второстепенную работу. (Попав туда в 1965 году, я с удовлетворением отметил, что уже и молодые капитаны и даже лейтенанты стали похожи на людей. Во всяком случае, они научились вести себя.) На нашем процессе прокурор КГБ с самого начала просил для нас условного приговора в виду нашего малолетства, но суд...

Суд не мог пойти на поводу у прокурора. Он дал больше. Он давал с запасом, чтобы никто не мог подумать, будто советский суд находится в плену у какого-нибудь ложного гуманизма.

Суд был гораздо ближе к общенародным порокам и идеалам, чем КГБ. И комсомольские вожди впоследствии распинали нас не по указке КГБ. Слишком для многих соблазнительно взвалить на КГБ всю ответственность за события, которые составляют позор советской власти.

Это все равно что взвалить на Дьявола вину за все зло мира. Дьявола нужно искать в себе.

Я даже допускаю, что, поскольку эта государственная организация склонна скорее сдерживать зверские инстинкты масс, чем разжигать их, она в большей степени соответствует нашим представлениям о разумной политике, чем любая другая организация в нашей стране чудес. И, возможно, в большей мере могла бы позволить себе творить добро, так как она единственная может действовать без оглядки на КГБ. Но практика управляющих государственных организаций подчинена народным предрассудкам гораздо больше, чем даже указания начальства. Если, отчаявшись дождаться, вы устроите скандал в очереди в каком-нибудь бюрократическом учреждении, вас остановят не сотрудники этого учреждения, вас утихомирит и пристыдит сама очередь. Если вы объясните депутату или предисполкома, что он обязан вас обслуживать и, собственно, не вы — для него, а он — для вас, быть может, он-то еще вас поймет, но окружающие бесповоротно вас осудят: "Ишь, какой! Много о себе понимает". Будучи сам впоследствии начальником, я скоро заметил, что мой студенческий демократизм, доброта и стремление снять лишние тяготы с подчиненного не только снижают мой авторитет, но и вызывают презрительную жалость у некоторых, даже ненависть ко мне, как к слабому человеку, сидящему не на своем месте. Если играющий на моих нервах сотрудник случайно для себя касался каких-то важных для меня струн и я неожиданно творил скорую и жестокую расправу, я видел, какое благотворное действие это производило на многих. Я просто ловил благодарные взгляды! В. И. Ленин, будучи главой правительства, не смог найти другого способа спасти Мартова, как помочь ему бежать за границу. Только став взрослым, я понял, что

генералы носят шутовские лампасы и попугайские опереточные пояса не из собственного тщеславия, а ради тщеславия народного. Бездна прилежания и масса сил, организованные в государственном масштабе, тратятся на удовлетворение низменных страстей народа, в угоду его великодержавным фантазиям, его фанаберии.

Я понимаю, что вышесказанное — парадокс. Большинство интеллигентов, услышав мои дифирамбы КГБ, просто возмутятся подобной всеядностью. Да и многие предшествующие утверждения могли показаться парадоксальными.

Но зададим себе вопрос, что такое парадокс? Это утверждение с нарочито нечетко обозначенной областью применимости. Оно может быть верно одновременно с прямым утверждением, так как их области применимости различны. Я считаю своим долгом высказать утверждения, которые мне кажутся, хотя бы отчасти, верными. Возможно, они окажутся более верными, чем общепринятые. Но, если даже они и содержат малую долю истины, они имеют смысл, ибо истина без какой-либо своей части — не истина.

Итак, с благословения КГБ я стал физиком. Нет, все же дело было не только в КГБ. Прежде чем я стал физиком, меня еще лишили аттестата зрелости. И это произошло, конечно, не из-за КГБ, а благодаря рвению заведующего гороно.

Он принял нас в своем кабинете с ковром и усадил рядком на диванчик (нас было трое — намеченных жертв) . Сам он гулял по ковру, сверкая чеховским пенсне, поглаживая чеховскую (я в этот момент думал — меньшевистскую) бородку и произнося свой монолог. В монологе этом повторялся один риторический вопрос: "Можем ли мы позволить ТАКИМ людям

получить высшее образование?!" Он сам и отвечал на этот вопрос, как бы преодолев тяжелое сомнение, поборов колебание, поднявшись над личными слабостями: "Нет! Не можем!"

Эту манеру как бы колебаться перед подлым решением, которое у него было запланировано заранее, я потом с интересом наблюдал на его сыне, через 15 лет, уже после смерти отца, работавшем в моей лаборатории и кормившемся из моих рук. Такое портретное воспроизведение внутренней низости при сохранении внешнего достоинства заставило меня всерьез признать первостепенное значение наследственного фактора в характере. Впрочем, ведь и обстановка и среда тоже воспроизводятся.

Лишенный аттестата зрелости, я все же поступил условно в самый паршивый пединститут. В этом институте я выбрал от отчаяния самый паршивый факультет (биологический) и в знак протеста не готовился к экзаменам. Умный еврей, который принимал у меня экзамен по физике, спросил, зачем я иду на этот факультет (биологический факультет в 1948 году — остроумно?), и, услышав, что мне безразлично, настоял, чтобы я перешел на физико-математический. Трудно понять, почему ему нужно было помочь мне (я его об этом не просил), если не привнести в это дело некий провиденциальный элемент.

Через три года, получив 20 лет ("от тюрьмы и от сумы..." — есть ли еще у какого-нибудь народа такая пословица?), он копал землю на канале Волга-Дон под руководством моего дяди — десятника, получившего к тому времени 25 лет. Дядя спас его, уже изнемогавшего, и пристроил к какой-то более легкой работе. Теперь я иногда вижу его статьи в ЖЭТФ.

*

Красота математических дисциплин и увлекательность физической картины мира настолько захватили меня на первом курсе, что некоторое время после этого я вообще ни о чем больше не думал.

Полковник Беляев оказался прав. Из мира узких рамок, из мира, где ни одна мысль не может быть продолжена без болезненного столкновения с нелепой действительностью, из мира, где исходные аксиомы формулируются как вечные истины без всякого на то основания и большую часть вопросов запрещено задавать, я попал в безграничное царство разума, где ограничение принимается или отвергается добровольно и сознательно, где мысль продолжается до предела, который возникает естественно, где возможны любые системы аксиом и законны все вопросы. Ошибка, совершенная в этом, новом для меня мире, не приобретала характер трагедии, а обнаруживалась в нелепости результата и могла быть прослежена на любом этапе прошлой деятельности.

Почему этот мир, несмотря на законченное среднее образование, оказывается для юноши совершенно новым? Казалось бы, в институтах те же физика и математика преподаются только в большем объеме, какое тут может быть открытие? Может быть, для молодого человека, который увлекался математикой в школе, это открытие было бы не столь ошеломляющим, но суть дела состоит в том, что в высшей школе совсем другие физика и математика.

Физика и математика, изучаемые в нашей школе, суть собрания случайных сведений, якобы полезных в жизни, но совершенно не одухотворенных никакой идеей. Эти сведения сообщают ученику как окончательные и уже неизменимые. Вопрос "Почему?", который

я часто задавал учительнице по физике, сначала озадачивал ее, а потом вызывал негодование. Она всерьез полагала, что я над ней издеваюсь. Школьные учителя, не будучи творчески работающими учеными, не способны самостоятельно представить физику (точнее, природу) как предмет для размышления. Поэтому они представляют материал урока как некий Завет, в котором все уже навсегда определилось.

В отношении физики это еще может выглядеть как необходимость, связанная с ее эмпирической основой, хотя и эта необходимость ложная. Но процесс догматизации в нашей средней школе зашел так далеко, что подобным же образом построены и курсы алгебры и теперь даже геометрии. В наше время геометрия была еще построена по Евклиду и она единственная давала хотя бы смутное представление о гармонии, красоте дедуктивной науки. В учебнике были приведены аксиомы, на них построены теоремы, из них извлечены следствия. Можно было увидеть, что нарушение одной из аксиом приводит к неполноте соответствующей системы теорем и невозможности решить конкретные задачи. Арифметика, алгебра в школе совершенно лишены этой стройности. О физике и астрономии и говорить нечего.

Иное дело — в институтах. Независимо от качества преподавания, материал точных наук обнаруживается как имеющая аксиоматический характер некая система, заведомо несовершенная в отношении к природе. Так как все время подчеркивается несовершенство в следствиях, постоянно сохраняется возможность пересмотра аксиом, и человек (ученик) из обескураженного зрителя становится компетентным экспертом, а потом потенциальным творцом. Если в школе при изучении науки я чувствовал себя ничтожной песчинкой, молчаливым свидете-

лем грандиозных свершений предшествующего человечества, то в институте, наоборот, я чувствовал, что предшествующие поколения во мне нуждаются, чтобы разрешить накопившиеся загадки и противоречия. Они старались изо всех сил и все же сплошь и рядом попадали мимо цели. Они не увидели единственно возможного решения, которое я сейчас найду. Даже величайшие видели лишь часть истины. В моем распоряжении есть все, что было у Ньютона и Эйнштейна, плюс последние факты и достижения, о которых они, к сожалению, ничего не знали.

Это ощущение потенциального всемогущества, посвященности в замкнутый, тесный круг мыслителей, равенства с титанами создает особый тип психологии. Открытость науки, ее проверяемость делают равенство людей, их потенциальную равноценность непреложными и уничтожают всякий пиетет по отношению к авторитетам. С другой стороны, некий профессиональный барьер, особый научный язык превращает науку в область деятельности, куда не допускаются профаны. Сообщество посвященных превращается в клан, принадлежать к которому почетно и трудно. Многие молодые физики и математики, смешивая потенциальную силу с действительной, ведут себя крайне высокомерно. Возможность решения грандиозных задач, по молодости лет, кажется им наполовину действительностью, а формальное равенство с талантами кажется залогом собственной талантливости. Но суть не в этом.

Овладение наукой дает уверенность в собственных силах и понимание рукотворной природы научных истин. И, может быть, истин вообще. То есть, дело не в самих сообщаемых сведениях, а в том, что в высшей школе обнажается их источник, и это совершенно меняет картину.

*

Уже после первого семестра, встретившись с товарищами по десятому классу, поступившими на филологический факультет, и попытавшись поделиться своими восторгами, я натолкнулся на полное непонимание. Наши знания после десятого класса должны были быть одинаковыми, за один семестр я не узнал ничего такого, чего нельзя было бы объяснить в нескольких фразах. Тем не менее разрыв между нами был такой же, как и сейчас, когда за плечами у каждого 5 лет института и 15 лет профессиональной деятельности.

В этом, мне кажется, заключена серьезная проблема. Как я уже говорил, суть не в самих научных сведениях, а в том, что для непрофессионала эти сведения ничем не связаны между собой и не составляют ни чего-то важного для мировоззрения, ни даже предмета для размышлений, а для ученого (и соответственно для студента) совокупность этих сведений составляет картину мира, в которой человек и все, что с ним связано, занимает только часть. (Многие ревнители гармонии считают, что эта часть совсем не лучшая).

В прошедшие времена натурфилософия считалась столь существенной частью мировоззрения, что само это слово "мировоззрение", по-видимому, отвечает выработке представления об устройстве внешнего мира. Теперь же образование настолько специализировалось, (может быть, только у нас?), что круг внимания советского интеллигента вообще исключает научные достижения из числа фактов культуры. Может быть, потому и возможно в нашем обществе существование бредовых социологических и психологических концепций (и биологических тоже), что нет никакой необходимости сопоставлять их и увязывать с более общей картиной мира.

Поэтому и возникло нелепое противопоставление "физики и лирики". Возможно, потому "физики" оказались в какой-то странной оппозиции к культуре, что эта "культура" не находится в разумном соотношении с природой в ее наиболее общих проявлениях (как ее знают физики).

Куцые школьные знания скоро выпадают из головы гуманитариев или, в лучшем случае, лежат там бесполезным грузом, как разрозненные сведения об электронах, призмах, проводниках с током и без тока, а не как наиболее общие законы природы, не как связная картина мира.

Естественно, что мой друг не мог понять, как из бинома Ньютона и проводников с током может возникнуть взгляд на культуру и искусство, да и не без основания предполагал, что и без проводников с током может развиваться богатая культура.

Однако культура не может развиваться без мировоззрения, без философии, и, наверное, только естественные науки составляют в нашем обществе философию, достаточно богатую, чтобы охватить материал, поставляемый современной жизнью.

Для меня несомненно, что естественнонаучная картина мира, принципы математических построений и содержательная часть научных достижений входят в культуру современного человечества такой же неотъемлемой частью, как литература и живопись. Поэтому, как это ни обидно, я не могу считать своих друзей-гуманитариев вполне культурными людьми, если они не только не знают ничего об устройстве мира и современной науке, но чуть ли не гордятся своим незнанием.

Беда осложняется тем, что повсеместно распространен предрассудок, будто научные истины сложны для понимания, сложнее обычных, так сказать, человеческих

истин. На самом деле объекты науки, конечно, проще житейских явлений и понимание их проще. Но в житейской практике за понимание часто сходит просто привыкание. Например, тот факт, что земля круглая, так же непонятен сейчас, как и в XУ веке, но мы к нему уже привыкли. Поскольку пониманием явления мы называем сведение к другому, привычному языку или явлению, то зачастую мы простое объясняем через сложное. Сложное, но привычное (земля и солнечная система, например) мы часто предпочитаем простому, но непривычному (атом водорода). Это же замечание касается и математического языка, который проще обычного (по этой причине он и употребляется), но дальше от повседневного опыта.

В точных явлениях теоретически понятое явление всегда может быть описано на любом языке. Так, квантовая механика, как известно, может быть сформулирована на различных математических языках (операторном и матричном) с равным успехом. Биологические факты успешно представляются в последнее время на языке кибернетики. То же происходит и в экономической науке. Невозможность такого перевода обычно обозначает не своеобразие объекта, а отсутствие понимания. Образование дает знание одного из научных языков, а между тем более правильно было бы учить свободно переходить от одного языка к другому, так как только такая способность обеспечивает свободу мышления, позволяя отделить сущность от терминологической шелухи. Понимание наук определяется способностью отвлечься от повседневного опыта (вернее, критически к нему подойти). Но этим же качеством определяется и всякое понимание вообще. Эта способность не характеризует естественнонаучный подход, а есть свойство любого познающего субъекта.

Собственно наука — это всего лишь систематизированное наблюдение, и естественно, что способы систематизации наблюдения у человека, вообще говоря, не зависят от объекта. Эти способы определяются не объектами, а ограниченными человеческими возможностями и поэтому по отношению к полю наблюдения представляют некое постоянство, хотя и не абсолютное.

Никаких особых способностей не надо, чтобы понять, как устроены атомы, как из атомов образуются газы, жидкости и твердые тела, чем они отличаются от других и что нам понятно, а что — непонятно. И когда станет понятно, что же все-таки непонятно в физике (а непонятно нам, как жидкие и твердые, то есть конденсированные тела строятся из атомов или как описать большую многочастичную систему с учетом полного взаимодействия между ее частицами, исходя из свойств этих частиц), тогда мы поймем и причины непонятности в жизни общества, и непонятность отдельного человека, и многое другое. Поймем непонятность — это значит, увидим ее в ряду других непонятных явлений и оценим значение этой непознаваемости в нашей культуре. Так называемая проблема отчуждения есть лишь вариант проблемы выражения макроскопических свойств большой взаимодействующей системы частиц через микроскопические параметры (свойства одиночной частицы). Эта проблема не решена и в физике.

В единой культуре все непонятности связаны в один узел, как и все, что считается непонятным. Способ и принципы обработки содержательного материала определяются историческим опытом данной цивилизации и воспроизводятся в разных науках совершенно независимо от самого материала, так что по отношению к обработке материал обнаруживает однотипную культуру. Кажется естественным, что это свойство не самого

материала, а систематизирующего сознания. Сознание выделяет в каждом объекте из множества свойств и явлений те, которые поддаются систематизации, и, хотя фундаторы всегда понимают условность такого отбора, традиция закрепляет этот отбор как чуть ли не единственно возможный.

Я не буду здесь повторять аргументы Шпенглера (я наконец прочел его) в пользу связанности различных элементов, составляющих единство, объединяемое словом "культура". Но обращу внимание на факты, которые обычно остаются за бортом сознания. Философский, моральный и физический релятивизм — современники, так же как индетерминистский мир Кафки и квантовая механика. Неустранимое влияние наблюдения на объект было постулировано в физике (соотношение неопределенностей) одновременно с расцветом экспериментальной психологии (где это основной и очевидный момент исследования) и так называемого левого искусства, основной принцип которого состоит в деформации наблюдаемого объекта восприятием художника. Наконец, проникновение в Европу декоративизма, восхищение азиатским и африканским примитивом, засилье статичной джазовой музыки очень хорошо сочетается с переформулировкой математики на язык теории множества, изгнанием понятия "переменная величина", с которым у Шпенглера так много связано, и бурным развитием численных методов.

Бессмысленно спрашивать, что на что влияет. Кажется, что каждое явление возникло независимо на своей линии развития. Но все эти одновременные перемены происходят от особенности умонастроения, которые сами имеют историческое происхождение и ведут к другим будущим изменениям. Так, при определенном

настроении в обществе оказываются внезапно актуальными идеи какого-нибудь давно забытого математика, которые никак не вязались с его временем, или картины художника, которые раньше казались пачкотней. Впоследствии, ретроспективно, мы объединяем в сознании однородные по духу факты культуры в некое вневременное и внепространственное единство, которое называем эпохой — например, Ренессанса.

Такой эпохой был, по-видимому, конец XIX века в Европе, давший великолепные образцы проявления "фаустовской души", хотя Шпенглер и полагал это время временем вырождения. Понятие "фаустовской души", характеризующее западную культуру, тесно связано с приматом времени в сознании, с математическими понятиями "переменная величина", "число как функция", с развитием эволюционных наук: биоэволюция, геоэволюция, техноэволюция, история как эволюция общества.

Европеец этой эпохи живет будущим, воспринимает прогресс как обнадеживающий; развитие во что бы то ни стало считает важнейшим признаком жизнеспособности; непрерывный рост — признаком социального здоровья. Западную цивилизацию мы знаем в основном по этому ее оптимистическому компоненту. Хотя существует Шопенгауэр, Ницше и тот же Шпенглер, наконец, но нам со стороны виднее. Мы видим только гегелианскую линию господствующей. Мы видим то, чего лишены, — движение времени, обогащающее душу, ведущее к зрелости.

И когда я задаюсь вопросом, что меня раздражает в "хиппи" и "новых левых", что так неприятно в их пренебрежении к обычным ценностям Запада (казалось бы, они — нонконформисты, это должно было бы мне нравиться), что настораживает меня в музыке "бит-

тлов", — мне кажется, что это — отсутствие чувства времени. Их подчеркнутая беззаботность и пренебрежение к общим идеям — нарушение традиций Запада жить будущим. Их демонстративная безалаберность — вызов расчетливому прошлому, провозглашавшему вместе с Киплингом:

Если можешь мерить расстояния
Секундами, пускаясь в дальний бег,
Земля — твоя!

Я, воспитанный в России, где эта добродетель — расчетливость и дальновидность — еще не привилась, считаю ее одной из важнейших психологических черт современного цивилизованного человека и решительно отказываюсь считать недостаток ее своим достоинством. В альтернативе Обломов — Штольц, которую на протяжении столетия предлагала нам русская литература, я решительно на стороне Штольца.

Быть может, самое ужасное, что переживаем мы в России, — это возникающее моментами ощущение, что время остановилось.

Когда, перечитывая С. Степняка-Кравчинского или С. Ю. Витте, я замечаю, что одни и те же явления русской жизни воспроизводятся в течение столетий, когда последовательность событий — провал Крымской войны, смерть Николая I, реабилитация, либерализация, реформы — повторяется в пугающих подробностях спустя сто лет, я чувствую, что моя жизнь — тоже какая-то копия, подражание чему-то, уже бывшему раньше. Это для меня — самое невыносимое. Потребность сознавать себя как уникальную личность ("незаменимых у нас нет"), ориентированную во времени, имеющую свою историю в прошлом (которая является частью

истории народа) и стремящуюся к некой цели в будущем (цель эта не есть повторение жизненного цикла) — есть предпосылка (а может быть, наоборот, есть достижение?) существования "фаустовской души". Это та доля, которую внесла западная культура в мое образование и от которой я не откажусь ни за какие материальные или духовные блага. Пусть это иллюзия, но без этой иллюзии европеец не станет работать, а я и жить не хочу.

Здесь я опять должен отметить, что единственной компактной группой в России (я имею в виду собственно Россию, а не Прибалтику, Западную Украину, Кавказ и т. д.), заинтересованной в прогрессе, понимающей его как непрерывное изменение и связывающей с ним свои индивидуалистические наклонности, являются евреи. Какой-то бес вечно толкает евреев выступать неистовыми защитниками различных новых проектов, энтузиастами новых способов производства, последователями новых школ и учений в науке, искусстве и политике. Острое чувство времени и повышенный индивидуализм делают евреев в России западными людьми безо всякого влияния собственно Запада.

Еврейская предприимчивость проникает даже через железобетонные стены наших бюрократических учреждений в виде разных рацпредложений, изобретений и усовершенствований. Тяга к бизнесу преодолевает жестокие рамки советского закона и создает целый подпольный деловой мир. Существует множество легенд о "левых" строительных конторах, об артелях, изготовляющих "налево" самые модные и пользующиеся спросом предметы, о снабженцах, обеспечивающих "левым" сырьем целые заводы. Героями этих легенд неизменно оказываются евреи.

У нас еврей — всегда западник по ориентации, всегда Штольц, а не Обломов. Тому, кто отклоняется от этого

правила, приходится обычно объяснять, почему он не похож на еврея.

Эта собранность перед лицом дела, способность вложить в дело себя без остатка и заставить работать других воспринимается на русской почве как чуждое и даже опасное, враждебное качество. Поэтому так часто мы не можем понять причины крушения наших планов облагодетельствования русского народа. Мы ведь трудимся "для пользы дела". Но ему не нужна эта польза. У него совсем другое понимание "дела", и он воспринимает наши заботы как насилие над своей природой.

Насилие это проявляется не обязательно в форме принуждения к определенным поступкам, а в принуждении к поступкам вообще. Оно проявляется в создании психологической атмосферы, при которой поступок является необходимой частью жизнедеятельности и мерилом ценности человека. Он проявляется и в таком формулировании альтернатив, в таком четком оформлении мыслей, которое неадекватно имеющемуся смутному ощущению и принуждает к дурному выбору из равно постылых возможностей. Наконец, сам пример единства мыслей и действия мучительно влияет на психику, в которой повседневные действия совершенно вынесены за скобки и совершаются как бы во сне, без моральной оценки.

Не менее враждебно воспринимает народ и цивилизаторскую деятельность русского любителя, но его отношение к официальным организациям другое. Государству вековая покорность народа дает возможность достигать любых формальных успехов на этом пути.

Государство может заставить русский народ сажать картошку, брить бороды и танцевать менуэт, может привить поголовную грамотность и после этого опять сажать кукурузу. Оно может привить все что угодно,

кроме желания и способностей воспринимать жизнь как необходимость непрерывных изменений. Такая способность или желание обозначали бы также необходимость для государства изменяться самому. Но зачем ему изменяться, если ничто внутри страны не толкает его к этому? Поэтому важнейший стимул изменений в России — необходимость что-то значить на внешнеполитической арене.Поэтому всегда были так важны для России фантомные мотивы политики:"окно в Европу", "проливы", "капиталистическое окружение". Они помогают как-то обозначить эту необходимость и оседают в голове русского человека как разновидности идеи великодержавия.

> "...Мир господствующих привилегированных классов, преимущественно дворянства, их культура, их нравы, их внешний облик, даже их язык был совершенно чужд народу-крестьянству, воспринимался как мир другой расы, иностранцев.
>
> ...Революция означает конец цивилизации, основанной на господстве дворян в бытовой жизни, дворянского стиля... Это даже более психологический и моральный вопрос, чем чисто экономический".
>
> *Н. Бердяев*

Необычная, искони преувеличенная роль государства в России, вмешивающегося в семейные дела подданных, небезразличного к бородам и к покрою одежды, требует специального изучения. Возможно, это связано с теократическим началом его как "Третьего Рима".

Но меня сейчас интересует другое; уже, во всяком случае, с Петра 1, а может быть, и гораздо раньше государство в России выступало по отношению к народу как насильно цивилизующая сила. И принятие христианства, и церковная реформа Никона тоже были осуществлены с лучшими цивилизаторскими намерениями и под страхом смерти. Народ не успевал еще осознать необходимости изменения, так как еще не вполне овладел предшествующим. Когда он наконец привыкал и осваивал новое (переиначив, конечно, по-своему), его опять домали и перекручивали, так, к XVII веку, когда народ почти охристианился и застыл в этой новой форме, правительство с помощью церковной реформы стало эту форму ломать.

Идеологические плоды в России никогда не дозревали, а срывались зелеными. Народ ни разу не был инициатором изменений, а всегда жертвой. Это происходило не потому, что государство спешило (оно, наоборот, по европейским масштабам всегда запаздывало), а потому, что народ всегда отставал. Плоды не срывали слишком рано, они созревали слишком долго. Таков социальный русский климат.

В других странах средневековья реформация, изменение одряхлевшего уклада происходило снизу. Народ бунтует, и правительство уступает, в конце концов сдается. В нашей стране все наоборот: правительство вводит новые реформы, пытается улучшить существование, модернизировать жизнь, а народ сопротивляется, самосжигается, бунтует. А то и не бунтует, просто тупо и злобно молчит. Но покоряется. Разыгрывается по-настоящему он, только когда ему дают волю. Особенно внушительные беспорядки происходили при действительных или мнимых (Пугачев) освобождениях. Многие российские

бунты производят впечатление каких-то недоразумений. Таковы картофельные бунты в XYII веке или холерные — в XX

Прекрасные города и грандиозные сооружения построены в России голько вопреки народной воле, буквально на человеческих костях. Мне рассказывали, почему Алма-Ата такой зеленый, красивый город. Комендант Верного выезжал утром из дома и проезжал по всем улицам. Как только увидит неполитое дерево, приказывает всех окрестных жителей пороть розгами. "Так и внушил любовь к зелени", — с умилением закончил рассказчик.

Эти детали (именно и особенно детали, так как, беря лишь основные факты, мы касаемся того, что тысячу раз обсуждали и представляли нам то так, то этак — и опять проваливаемся в нарезанные колеи) свежему глазу представляются знакомыми по каким-то совершенно другим источникам. Как будто это взаимное непонимание похоже на что-то!

Конечно! Это похоже на поведение колонизаторов в завоеванной стране.

Эпоха управления англичан в Индии изобилует фактами, которые напоминают историю русских бунтов и самосожжения. Ну, хоть восстания сипаев: в 1806 г. сипаи в Веллоре восстали в знак протеста против правил, предписывающих "носить тюрбаны нового образца" и т. п. В 1824 г. сипаи в Барракпуре восстали, протестуя против отправки их по морю. Они думали, что переезд по морю может их осквернить. Знаменитое восстание 1857 г. началось в результате введения сальных патронов в армии.

Так же по-русски выглядит и развитие колониального бюрократизма и громадной административной системы, охватывающей все области жизни: "В Индии в наследст-

во от колониального прошлого осталась иллюзия неограниченных возможностей администрации, вплоть до решения чисто специальных вопросов" (Дж. Гелбрейт, "Новое индустриальное общество").

Не предрассудок ли, что колонией мы считаем только страну, имеющую метрополию? И не разновидностью ли метрополии служила для послепетровского дворянства Европа? Дело не в том, что русское государство началось с варягов, продолжалось с помощью греков и татар и прочно управлялось немцами. Дело в том, что духовная родина русского правящего класса (после Петра и особенно после Екатерины) всегда была в Европе. Не случайно дворяне весь XIX век говорили по-французски. О русском народе и его языке в начале XIX века образованные русские люди знали немного и воспринимали это как интересный этнографический материал. О Германии или Франции они знали все. В таком свете и сам факт громадного количества немцев, французов и т. д. в русской служилой аристократии представляется вторичным. Эти люди легко приживались в близкой культурной среде, а к народу они имели, в общем, такое же отношение, как и русские коллеги. Замечательная русская культура XIX века, вернее, то, что мы зовем русской культурой, создано особым европейским народом, который говорил на особом языке (мужики зачастую даже не понимали его, а многие не понимают и сейчас), жил во враждебной дикой стране, пользовался необычайным (даже для Европы) комфортом (англичане в Индии тоже жили комфортабельнее, чем дома) и генетически был интернационален. Сейчас в Южной Африке так живет белое меньшинство, имеющее свою литературу, традиции и представление о цветных. Так жили южане США. Великолепная утонченная культура южан до сих пор питает американскую культуру

(Лилиан Хеллман, Фолкнер и пр.) и вносит в нее струю, созвучную русскому XIX веку. Особые формы быта и аристократическая психология благородных южан до сих пор восхищают некоторых американцев и кажутся невозместимо потерянными.

Но уточним, перетекла ли хоть частичка этого благородства к их неграм? Являются ли негры наследниками этой культуры? Смешно даже ставить такие вопросы!

Откуда же мысль, что потомки русских крепостных мужиков унаследуют культуру Пушкина и Глинки? Разве что они ближе к своим господам цветом кожи? Но манерой одеваться, языком и религией они отличались от них больше, чем негры от своих хозяев. Трудно по совести назвать православными франкмасонов XIX века. И русскому языку дворяне учились у своих нянек и кучеров, а не у родителей. Смешение между дворянами и их крепостными происходило по той же схеме, что между белым хозяином и негритянкой, а браки заключались едва ли не реже. Негры в своеобразной форме усваивали суррогат культуры своих белых хозяев. И русские крепостные мужики усваивали какие-то элементы (иногда совершенно неожиданные) европейской культуры. Конечно, в России с годами происходила не только европеизация русского народа. Еще в большей мере русела и отдалялась от Европы цивилизованная элита.

Но до самого 1917 года не стала она русским народом. Это незаконное отождествление совершенно затемняет нам понимание событий и всего пафоса русской революции. Патриотически настроенные интерпретаторы ищут теперь в революции моменты, объединяющие белых и красных в понятии "русский" (например, в фильме "В огне брода нет"). Но в сознании восставшего народа таких моментов не было. Ожесточение против

"буржуа", "помещика" сделало сам этот термин "русский" подозрительным. Русский народ поступился даже своим юдофобством, даже отвращением к татарам и грузинам. Так велик был напор национально-освободительного движения против европео-русских колонизаторов. Не случайно важным агитационным моментом в революции была какая-то мифическая связь русских "буржуев" с "Международным капиталом", "Антантой" и пр. Интернационалистский якобы характер революции должен был как-то легализовать эту странную особенность народного сознания, патологическую, с обычной точки зрения, ненависть ко всему русскому, гигантское по масштабам уничтожение культурных и исторических памятников, вопиющее пренебрежение к русской истории. Народ, также введенный в заблуждение двойным использованием термина "русский" в отношении себя и русско-европейского народа, создавшего это государство, готов был восстать против себя, загадить все церкви и брататься с китайцами и неграми, чтобы отделиться в сознании от своего врага и отождествиться со своими естественными союзниками (отсталыми колониальными народами). Многие чувствовали беспрецедентность этой революции и, как к объяснению, обращались к интернационализму. На самом деле ее беспрецедентность в том, что национально-освободительное движение масс было направлено против народа, давшего имя этой стране и не имевшего другой родины.

Беспрецедентность русской революции связана с беспрецедентностью русского государства, сумевшего создать европейский образ жизни, европейский народ, европейское государство внутри варварской страны, варварского народа, варварского государства, почти не задев цивилизацией основную массу населения, используя

ее труд, ее кровь в войнах, ее хлеб во внешней торговле и не поделившегося с ней ничем.

При рассмотрении предреволюционной русской истории и ее современного продолжения часто возникает ощущение непрерывности. Трудно без такого ощущения перечитывать Салтыкова-Щедрина или Сухово-Кобылина. Многие элементы, составляющие сущность царского режима, перекочевали без изменения в нашу советскую действительность, так что правительство даже начинает бороться с постановкой классических пьес в театрах. Это соблазнило многих авторов рассматривать историю Российской империи как единый поток, а революцию 1917 года как несущественный эпизод. Такую точку зрения высказывает, например, А. Амальрик ("Просуществует ли СССР до 1984 года?"). Однако, я думаю, что такой взгляд чересчур односторонен. Он, например, не в силах объяснить грандиозный культурный прогресс, происшедший в России одновременно со столь же грандиозным ростом грамотности и технической мощи.

Напротив, стоит подойти к этому вопросу с меркой национально-освободительных движений, и нам становятся понятными и бесконечные "трудности" (в Индии не было трудностей, пока не ушли англичане), и падение духовной культуры, и сосредоточение внимания на росте технической оснащенности, и даже тоталитарный характер управления. Все эти элементы мы наблюдаем в освободившихся странах Азии и Африки после ухода белых цивилизаторов. Заметим, что для национально-освободительной борьбы не обязательно этническое различие (точнее, генетическое) между борющимися сторонами — как, например, в случае американской антианглийской революции.

Когда мы с тоской и восхищением смотрим на блестящее прошлое русской культуры и печалимся о ее жалком настоящем, мы, в сущности, мысленно передергиваем, ибо эта культура — не наше прошлое, а прошлое тех пяти-десяти миллионов представителей европейско-русского народа, которые были изгнаны, убиты и рассеяны в 1917-19 годах. Сравнивать культуру современной России с XIX веком, все равно что сравнивать какого-нибудь Манолиса Глезоса с Платоном и отмечать падение культуры современных греков. Современные греки вовсе не наследники и продолжатели античной культуры, которая погибла вместе со своими носителями. Если кто-нибудь и унаследовал элементы этой культуры, то, скорей, Итальянское Возрождение, и произошло это по идейной связи, а не по генетической. Так же бессмысленно надеяться, что европейская культура России возродится теперь в русском народе (по созвучию, что ли?). Великая европео-русская культура краем обошла русского мужика и оставила его настолько девственным, что он любой негритянский джаз воспринимает легче, чем музыку Чайковского. Твист ему ближе вальса. Иностранная литература расходится лучше русской классики. Зато советская литература расходится, несмотря на ее примитивность. Если бы Пастернак и Синявский, Мандельштам и Солженицын издавались миллионными тиражами, магазины были бы завалены ими. Но Евтушенко и Симонов раскупаются охотно. Достоевского у нас не потому не читают, что запрещают, а потому, что непонятно: "Мы не те русские, что были до 17 года, и Русь у нас не та". Это на самом деле очень глубокое замечание. Советский русский народ имеет такое же отношение к русской культуре, как и румын к римлянам.

Поясним эту мысль на примере недавнего события. В Алжире проживали 9 миллионов человек. 2,5 мил-

лиона из них были европейцы. Страна находилась в состоянии резкого промышленного подъема, в результате чего стремительный рост благосостояния европейцев особенно ярко подчеркивал медленный темп прогресса арабской части населения. Страна управлялась демократическим путем, но вследствие низкой культуры арабы были не способны ни эффективно участвовать в политической жизни, ни, тем более, использовать преимущества своего численного перевеса. В результате, практически все, что можно было извлечь из демократии и самоуправления, извлекали европейцы. Они создали высокую конъюнктуру рабочей силы (она же была связана с высокими требованиями к квалификации), культуру медицинского обслуживания, промышленность, современные города, духовную жизнь, учебные заведения. Они считали эту страну своей родиной.

Арабы объявили им войну. Разумеется, начало этому положили образованные арабы, но движение вышло из-под интеллигентского контроля. В результате наполовину героической, наполовину зверской, подлой борьбы арабы победили. Два с половиной миллиона под угрозой полного истребления покинули страну. Таким образом, вместо предполагаемой обычной интеграции и общего роста культуры населения произошло размежевание, развод. Заводы остановились, города запустели, медицинского обслуживания не стало совсем. Учебные заведения полностью потеряли свое значение, духовной культуры как не бывало, управление стало едва ли не фашистским.

Как рассматривать это явление? Если сравнивать Алжир как единицу до и после освободительной войны, мы увидим несомненный регресс. Но есть ли смысл в рассмотрении таких единиц? С годами заводы несомненно заработают и даже умножатся. Безграмотные станут

малограмотными, а все высокооплачиваемые должности займут прежде низкооплачиваемые (и низкоквалифицированные, конечно) арабы. И для шести миллионов арабов, которые не участвовали в былом процветании, это превращение, возможно, означает прогресс. То есть, несомненно более медленный прогресс, чем был бы возможен в случае проявления взаимной доброй воли со стороны большинства и меньшинства. Но кто может сказать, возможна ли такая добрая воля? Быть может, непонимание фатально нарастает в таких случаях, а не уменьшается? К тому же жадность и претензии тех, кто считает себя обделенным, растут быстрее, чем уровень образования и квалификации, а охранительная ярость того, кто остается в выигрыше,сильнее христианского стремления поделиться. Разве русские помещики проявляли склонность поделиться? Разве расходы на народное образование в России не казались властям всегда наименее необходимыми?

Возможно, такое развитие событий находится в связи с развитием техники. Цивилизация иногда дарит нам свои плоды в виде технических устройств, не требующих от владельца никакой квалификации. Научить управлять автомобилем можно и человека, неспособного его починить. Североамериканские индейцы довольно скоро научились стрелять из ружей, хотя им не приходилось их делать. Это обстоятельство создает соблазн воспользоваться плодами прогресса, не жуя его горьких корней. Трудовая дисциплина, необходимость считаться с реальностью, практические компромиссы — все эти предпосылки технического прогресса не обязательны для иждивенца, который потребляет технику на заключительном этапе. Многим даже кажется, что они могут использовать прогресс более эффективно без накладных расходов, какими являются с их точки зрения парламент-

ские демократии, гуманистические идеи и прочие "слабости" западных обществ.

У слабо развитых стран и отсталых народов не было Ренессанса, Реформации, Гуманизма. Словом, у них не было XIX-го, но у них наступает XX век. Научно-техническую культуру они получают без ее гуманитарной компоненты. Реактивные истребители, ракеты, танки-амфибии они получают в готовом виде, без развития образования, творческих мук конструкторов, квалифицированного напряжения рабочих. Это — взрослость без любви, осуществление без мечты, возможности без ограничений, мощь без ответственности, права без обязанностей. Кажется даже, что морально они сильнее цивилизованных народов, как хулиган в драке сильнее философа.

Это отчасти новая ситуация, так как технические новинки прошлого, по-видимому, в большей мере требовали развитого сознания. Возможно, конфликты типа алжирского в прошлом затихали без последствий. Покорились англичанам и цивилизовались шотландские кланы. Онемечились и цивилизовались латыши и эстонцы.

Теперь же отсталые народы хотят не научиться и сравняться, а соперничать и побеждать. Возможно, причина эта в том мнимом могуществе, которое ощущает человек с автоматом (и без моральных запретов) перед лицом действительности. Но это только иллюзия. Эти народы и правительства стали опаснее (в смысле человеческих жертв) , но не сильнее, чем прежде. Алжир отстоял свою независимость (к несчастью для своего народа) , потому что в XX веке Франции не нужна победа, купленная ценой сотен тысяч жизней. В XVIII веке это не явилось бы препятствием. Но для Алжира соотношение сил осталось тем же самым, если не ухудшилось.

В этом смысле в драке хулигана с философом преимущества хулигана эфемерны и относятся только к мгновенной ситуации. В любой сложной игре (а война является именно такой) хулиган проигрывает.

Пятьдесят лет, которые потратила опомнившаяся русская интеллигенция (60-х гг. XIX века) на воспитание народа в духе своей культуры, на приучение его к европейским формам самоуправления (земство), на создание в нем правосознания (суд присяжных) пропали втуне. "Караул, устал!" — вот ответ на парламентское самообольщение русского европейца. Этот ответ и сейчас многим недалеким людям кажется остроумным.

И три миллиона европейцев поплыли в Европу, а в России впервые установилось государство, представители которого находились с народом на одном культурном уровне. Сейчас это еще более верно, чем в начале советской власти. Советская Россия начала свой прогресс с самого начала и в соответствии со своим пониманием. Всеобщая грамотность, промышленная революция и современная военная мощь есть реальные достижения этой новой самостоятельной России. Но и эта новая Россия оказалась со временем в ситуации, близкой к положению старой. Внешний мир не хотел ждать, пока она разовьется, и правительство опять взяло темпы технически и военно необходимые, которые по отношению к народу оказались непосильными. И опять создался разрыв... Не удивительно, что советская власть копирует многие царские порядки. Ведь ее представления о величии и способе разрешения проблем черпаются из воспоминаний о дореволюционной России (см. цитату из Гелбрейта). Не знаю, дойдет ли когда-нибудь вообще Россия до уровня культуры XIX в., но ясно, что от элементарной грамотности до понимания Достоевского путь далекий. Старая Россия прошла его не за один век.

В этих рассуждениях, как и во многих других, я понимаю меру условности высказанного. Разумеется, и государство, и народ состоят из такого большого числа по-разному зацепленных элементов, что некоторые аспекты этих явлений могут моделироваться совершенно по-другому. Нельзя ожидать, что исчерпывающие истины о сложных вещах могут вместиться в абзац. Но в таких случаях правильный вопрос не "Что это такое?", а "На что это похоже?" — и тогда, отмечая последовательное сходство разных аспектов явления с явлениями более изученными, мы продвигаемся вперед к пониманию своего объекта. Это замечательно выражено Я. И. Френкелем: "Чем сложнее рассматриваемая система, тем, по необходимости, упрощеннее должно быть ее теоретическое описание... Физик-теоретик в этом смысле подобен художнику-карикатуристу, который должен воспроизвести оригинал не во всех деталях, подобно фотоаппарату, но упростить и схематизировать его таким образом, чтобы выявить и подчеркнуть наиболее характерные черты. Хорошая теория сложных систем должна представлять собой лишь хорошую "карикатуру" на эти системы, утрирующую те свойства их, которые являются наиболее типическими, и умышленно игнорируя все остальные — несущественные — свойства".

В этом уподоблении особенно важно, что разные карикатуристы, вообще говоря, увидят разные характерные черты оригинала, и разные карикатуры, будучи верны оригиналу, могут быть не похожи одна на другую. Это значит, что определение "типических" и "несущественных" черт явления зависит от точки зрения наблюдателя, и еще больше от рассматриваемого сечения объекта. Так, марксистский анализ общества во всех случаях

пренебрегал географическим и этнографическим факторами, потому что постулировал примат экономической деятельности. Но, как я уже говорил, социальное явление всегда многомерно, и, в определенном сечении, этот примат действительно имеет место. Это значит, что, в то время как в физике нам часто (отнюдь не всегда) удается обойтись одной теорией явления (одной "карикатурой"), в социологии мы сразу должны постулировать одновременную применимость нескольких (даже взаимоисключающих при прямом наложении) теорий, из которых в совокупности состоит модель явлений. Причем искусство социолога должно состоять в том, чтобы суметь определить для этих теорий социологические аспекты как области применимости. На языке "карикатур" это соответствует созданию портрета в криминалистике. На экран проецируются "карикатуры" с расплывчатыми чертами лица и различными характерными формами носа. Свидетели выбирают одну из них. Затем на "карикатуру" с этим носом проецируются " карикатуры" с различными типами губ и т. д. Таким образом полный реалистический портрет составляется из набора грубых односторонних карикатур.

Напрасно сетуют, что естественные науки разработаны, а социальные нет. Просто мы от социальных наук требуем гораздо большего. Модель свободного рынка, например, неплохо разработана и представляет собой вариант модели идеального газа. Разумеется, эта последняя так же нереалистична, как и первая. Но в то время, как вириальные поправки и разные другие выкрутасы в отношении реальных газов в общем нас устраивают, модель свободного рынка и хаотического предпринимательства вызывает неудовлетворение даже в отношении классического капитализма в Европе — объекта, наиболее близкого к этому представлению. Это связано с тем,

что в социальных явлениях для нас эмоционально окрашены даже малейшие проявления системы, и мы требуем от соответствующей науки совершенно невозможной точности. Трудности же, которые возникают за пределами модели свободного рынка, еще больше. Они являются отражением общих трудностей рассмотрения больших взаимодействующих "конденсированных" систем. Разумный подход состоит в том, чтобы моделировать различные аспекты явлений и выделять тенденции, не надеясь на количественные совпадения и используя понятие подсистемы (электронная подсистема в решетке твердого тела).

Так, экономическая жизнь может в определенных условиях (средневековая Европа) оказаться относительно независимой подсистемой в обществе, а культурная жизнь может вовсе не быть отражением материального бытия, а даже находиться в известной оппозиции к нему, как это почти всегда было в России. Такая подсистема, начиная с определенного критического уровня, обретает некую собственную устойчивость и может рассматриваться не только как функция какого-то аргумента, а как самостоятельный объект. Каждый такой объект может моделироваться по-своему, и таким образом отпадает непосильное для социологических теорий требование универсальной применимости.

* *

Самое тяжелое в переживаниях, связанных с моей общественной деятельностью на пользу советской власти, было ощущение неправоты, возникшее из-за фальшивых покаяний. Хотя я всячески упирался и объяснял моим друзьям, что покаяние только ухудшит положение, внеся оттенок правдоподобия в абсурдные обвинения, об-

щий глас был — каяться. Соучастники, единомышленники, благодетели, учителя, сочувствующие — все в один голос подтвердили необходимость покаяния, и при этом уклониться — значило подвести друзей и поставить свои личные, а следовательно, мелкие соображения выше их общей пользы. Чтобы не подводить их, я действительно что-то пробурчал на собрании и от этого почувствовал себя запачканным, но в то же время сделал это достаточно невыразительно, чтобы вызвать раздражение всех окружающих. Мое покаяние было признано недостаточным, а я сам был дополнительно осужден всеми за индивидуализм. Единодушие этого осуждения и пафос, с которым меня разоблачали особенно близкие друзья, заставили меня всерьез ощутить свою ущербность. Будучи теперь совершенно лояльным и стремясь принести только пользу всем окружающим и особенно социалистическому государству, я ощущал отсутствие конформизма как тяжелую неполноценность, мешающую мне влиться в общий поток.

Читая материалы дискуссии 1948 года по биологическим вопросам, я страдал от невозможности поверить в бредовые лысенковские теории и забыть простые уроки дарвинизма, внушенные мне школой. Ощущая нараставшую волну антисемитизма, я лихорадочно искал оправдание этому безумию. Сталинские статьи по вопросам языкознания приводили меня в отчаяние от невозможности найти и уловить в них тот сокровенный и глубокий смысл, который, по-видимому, находила в них вся страна. Ясно помню, что я плакал в своей комнате (отдельная комната, которую предоставили мне родители, наверное, и была материальной основой моего индивидуализма) над "Литературной газетой" со статьей Эренбурга, в которой он присоединялся вместе со всем народом к каким-то очередным глупостям правительства.

Я плакал оттого, что не мог заставить себя думать так же, и говорил себе, что ведь не могут же все лгать ("вот и Эренбург тоже, уж он-то не солгал бы, не испугался!"), и, значит, есть в этом какой-то смысл, который все видят, а я не вижу, и любая дура на моем курсе видит истину яснее меня, а я какой-то искалеченный, интеллектуально-извращенный выродок, индивидуалист. И я готов был разбить себе голову, чтобы она не мешала мне стать таким, как "все". Вспоминая свое тогдашнее состояние и эти слезы в 17 лет, которых я стыдился, я чувствую, как закипает во мне ненависть к этим писателям, предавшим и продавшим нас. Сейчас, живя в кругу элиты, общаясь с писателями, учеными, художниками и т. д., я привык к рассуждениям о "плате за вход", о необходимости "уступить в малом", чтобы выиграть в большом" и т. д. И, разумеется, я теперь понимаю, что Эренбург чего-то там "для них" накропал, думая, что за то он сумеет напечатать что-то другое, "важное". Но, вспоминая свои 17 лет, я думаю: "А правильно ли они определяют "большое" и "малое"? Вошли ли эти мои слезы в тот счет, который он себе " составлял"? Боюсь, что нет. У нас теперь среди интеллигентов любят говорить об ответственности ученых, об оружии, которое они дают в руки людей, об опасности открытия жестоких истин. Но я знаю, помню, что ничего нет страшнее ответственности человека, которому верят люди в 17 лет. Писатели, обманувшие доверие такого человека, — преступники. Их грех ужасен. Никакая ответственность ученого и даже политика не сравнится с этим.

Я упорно боролся со своим индивидуализмом, который по наивности смешивал с себялюбием. Для воспитания себя я начал совершать подвиги в духе "умерщвления плоти" и "смирения гордыни". У Андрэ Жида я прочел о том, как молодой человек наказывал себя за глупости ударами ножа в бедро. Я проверил свою волю, разрезав руку бритвой. После этого я стал наказывать себя за мелочность, за себялюбие и за прочие грехи, втыкая перочинный нож в бедро, в зависимости от меры преступления. Такое преодоление естественных инстинктов наполнило меня ощущением торжества над плотью и предвкушением скорой победы также и в области духа. Эта победа, однако, была одержана не оружием воина (перочинный нож), а словом поэта. Мне попалась книга У. Уитмена в переводах Чуковского, и меня увлекло это сочетание крайнего индивидуализма с любовью к людям и даже к толпе. Его оптимизм и жизнеутверждающий пафос в сочетании с натуралистическими жизненными подробностями показались мне откровением. Его понимание соотношения между индивидуальностью и толпой показалось мне выходом из положения. И известную терпимость к окружающим, мне казалось, я позаимствовал тоже у него.

Я бросил наказывать себя после одного случая. Воткнув нож себе в бедро, я подумал, как это нехорошо, что нож грязный, и перед следующим разом я обмакнул его в йод. Боль, которая пронизала меня, была так неожиданна и страшна, что я закричал. Болела вся нога от пятки до ягодицы. Весь покрытый испариной, я прилег на диван и стал думать, что умираю от какого-то еще неизвестного мне механизма заражения крови... Боль постепенно прошла, и страх тоже, но ощущение

отвратительности дела, которое так унижает, осталось во мне навсегда. Человек, который сказал, что страдания облагораживают, наверное, не знал настоящих страданий. Он играл своими мелкими страданиями, как я своим перочинным ножом. Настоящее страдание унижает. Оно возвращает тебя к твоей смертной телесной природе. Оно делает тебя рабом. Ты можешь стиснуть зубы и не проговориться на допросе, но вряд ли ты сможешь думать о судьбах мира и вселенной с иголкой под ногтем. Значит, твой внутренний мир не целиком твой. Значит, ты — раб всякого насильника.

Но, может быть, на меня уже начало оказывать облагораживающее влияние изучение точных наук? Понимание относительной природы истин делает человека терпимым. А сами поиски истины, необходимость сугубо индивидуальных усилий на этом пути дают индивидуализму оправдание, которого мне тогда не хватало.

Нуждается ли индивидуализм в оправдании вообще? Может быть, на Западе такой проблемы нет? Мне кажется, что нуждается. Даже на Западе. Индивидуализм вообще дитя Запада, и самостоятельность взглядов является добродетелью только в пределах этой цивилизации. Но и там эта добродетель оценивается положительно только до определенной степени, разной в разные времена и при разных обстоятельствах. Какая-то степень конформизма необходима для всякого совместного действия и, следовательно, для всякого общества

Но необходимая мера этого конформизма с трудом поддается определению. Можно допустить, что общества с жестким регламентом в области мысли и поведения в целом стабильнее или даже счастливее (хотя, как определить такое счастье? Как среднестатистическое?) свобод-

ных, однако, как сказал один классик: "Неведенье, конечно, счастье, но, чтоб быть им, оно должно быть полным".

Практика показывает, что общества с конформистской идеологией стоят на месте, а общества индивидуалистов быстро развиваются. Можно спорить о том, насколько духовно обогащает это развитие, но несомненно, что оно дает материальные и технические преимущества. В реальном мире ни одно, даже ультрареакционное общество не хочет отказаться от этих преимуществ. Тем самым открываются двери техническому прогрессу. Неведение перестает быть полным. Технический прогресс не синоним, но неотъемлемая часть прогресса вообще. Если от человека потребовать, чтобы он проявил максимум оригинальности в конструировании самолетов и сервоавтоматов, — как после этого заставить его верить вместе со всеми в ковер-самолет и скатерть-самобранку? Таким образом, внутри общества создается слой, заведомо опасный для общепринятых норм и связей. Причем, чем легче этим техническим специалистам сочетать свою профпригодность с полной лояльностью по отношению к общим предрассудкам, тем меньше пользы общество может из них извлечь. Масштаб технической оригинальности связан с масштабом личности. И чем одареннее они в своей специфической области и, следовательно, радикальнее в оригинальном подходе к проблеме, тем потенциально опаснее они для общественного и идеологического "статус кво".

Разумеется, это не значит, что каждый ученый должен быть революционером, но это означает, что в обществе, в котором пытливый дух исследования окажется популярным, недостатка в революционерах не будет. Наоборот, люди, которым долгое время может не приходить в голову распространять здравую логику, которой

они пользуются, за пределы профессиональной сферы, по природе ограничены и на крупные достижения не способны. Быть может, воспитание, которое учит возведению таких непреодолимых перегородок в сознании, является важнейшим тормозом также и технического прогресса. Может быть, одно из свойств искусства — такие шоры в сознании разрушать, и в этом и состоит роль искусства в техническом прогрессе?

Во всяком случае, факт, что искусство на этот прогресс влияет, мне кажется настолько несомненным, что я считаю возможным объяснить эпигонский, в общем, характер развития советской науки (несмотря на громадные технические достижения и грандиозность затрачиваемых средств) низким уровнем литературы и искусства. Можно, конечно, найти элементарную причину сразу для обоих этих явлений, но не думаю, что в этой области действует такая прямая казуальная связь. Связь идеологических явлений со структурными скорее корреляционная, опосредствованная и осуществляется с большим временным запозданием.

Итак, общества с идеологией, более близкой к индивидуализму, развиваются наиболее бурно. Означает ли это аргумент в пользу такой идеологии? Само по себе — нет. Если бы конформистские общества не развивались вовсе или шли каким-нибудь своим путем, возможно, они предложили бы нам приемлемую альтернативу. Но они, полные энтузиазма, происходящего от жадности, рвутся туда же, к техническому прогрессу, и своеобразие их путей состоит лишь в том, что они демонстрируют различные способы неправильных, половинчатых решений вопроса об обеспечении этого прогресса, и после больших затрат сил и средств возвращаются к испытанным западным (индивидуалистическим) методам. Таким образом, речь идет не о выборе пути, а о вы-

боре способа движения (прямо или через голову, лицом вперед или задом, с гирями на ногах или без гирь).

Я связал как будто два различных вопроса в один. Вопрос об индивидуализме, суверенности индивидуального взгляда на мир и вопрос о техническом прогрессе, о целенаправленном воздействии человека на этот мир. В сознании некоторых интеллигентов это не только различные вопросы,но даже в некотором роде взаимоисключающие. Дегуманизирующее влияние технического прогресса, падение культуры в связи с господством массовых средств информации, стандартизация личности и засилие техницизма — вот набор ужасов, которым интеллигент-гуманитарий мужественно противостоит с помощью отращивания бороды, собирания икон и особых (старинных) способов заваривания чая.

Действительно ли положение так ужасно, что необходимы крайние меры (отпускание бороды)? Что касается нашей страны, то до повсеместного господства автоматов еще так далеко, что ближайшие сто лет наверняка еще можно спокойно бриться. Но, может быть, господство техники действительно угрожающе выглядит на Западе? Выглядит — да! Но я подозреваю, что никакой прогрессирующей дегуманизации и стандартизации реально не происходит. Ведь существенно не само наличие стандартизации, а ее тенденции к распространению, причем распространению на области, где в прошлом господствовала оригинальность. Происходит ли такая экспансия?

В России еще много городов (а деревни еще почти все) ,практически не затронутых революцией и XX веком. Дома в Талдоме, Кимрах, Кунгуре в основном те же, что стояли сто лет назад. Сначала, присматриваясь к этим домам, вы ощутите приятное чувство экскурсанта в музее. Дома вам кажутся интересными, старина

восхищает, неудобства смешат. Но походите подольше, посмотрите повнимательней — и вас начинает одолевать усталость экскурсанта в музее. Дома кажутся одинаковыми, старина поддельной, выпущенной большим тиражом, неудобства — раздражающими. И если вы преодолеете и этот этап и будете продолжать вглядываться, вам откроется правда — вы увидите стандартизацию XIX века. Поезжайте в деревню, и вы увидите бревенчатые избы-пятистенки или хаты-мазанки — стандартизацию XVI-XVIII веков. Эта стандартизация,так же,как и современная,определяется технологией и, в отличие от современной,характеризуется большим допуском. Это,однако, является ее недостатком, так как низкий уровень развития техники не давал возможности делать в точности то, что задумывалось.

Современная стандартизация, будучи сознательной, несет в себе противоядие против себя самой. Старая стандартизация, отражая спонтанную стандартность мышления и консерватизм технологических приемов, не дает даже проблеска надежды. Любой из нас может перечислить варианты деревень (среднерусская деревня, украинское село, горский аул), которые представляют собой типовое строительство прежних веков и соответствующие типовые проекты зданий (изба, хата, сакля). Ничего не стоит предвидеть и описать внутреннее убранство этих жилищ по одному взгляду на улицу.

Еще большая стандартизация в прошлом — идейная. Такая мощная организующая сила, как православная церковь, спроектировала великолепную стандартизацию идеологии, которая блестяще себя оправдывала два-три века подряд. Причем изменение стандарта (церковная реформа, изменение календаря, изменение шрифта) вовсе не вызывало восторга публики. Католическая церковь для технического надзора по следованию идеологи-

ческим стандартам ввела специальный компетентный орган — инквизицию. Все современные государственные службы стандартизации имеют такие органы (Нац. Бюро Станд. в США), но не все догадываются ввести также и идеологический стандарт. А в прошлых веках это было в порядке вещей. Причем стандарт был в прошлых веках не только для всех людей, но и для всех времен, что не менее ужасно.

Сейчас стандарты хотя бы все время подновляются. Таким образом, иллюзии относительно господства самобытности в прежние века по меньшей мере неосновательны. Может быть, в XVII или XIX веке меньше считались с модой? Упаси Бог! — Больше. Может быть, больше ценили оригинальность мысли, самобытность таланта, индивидуальность поведения? Конечно, нет! Может быть, в картинных галереях, в залах XV1-XVIII веков больше разнообразия красок, творческих манер, сюжетов, чем в залах X1X-XX веков? Нет!

Откуда же эта убежденность, что современная жизнь особенно губительна для оригинальности, что технический прогресс и стандартизация убивают личность, что массовые средства информации мешают творческим процессам?

Ведь истинно оригинальные, творческие люди были редкостью во все века. И окружающие общества всегда по возможности сживали их со света. XX век даже лучше других, так как теперь эта травля приняла сравнительно мягкую форму "заботы о талантах".

Наш век вовсе не отличается повышенной стандартизацией личности, ни большей, чем прежде, стандартизацией искусства. Стандартизация личности всегда была весьма высока, а художественная продукция для массового читателя и зрителя всегда и повсюду была стандартизована. Современные средства массовой информации

конкурируют с серьезным искусством не больше, чем шарманка и лубок конкурировали в прошлом с симфонической музыкой и станковой живописью. Что такое шарманка или балаган? — массовое искусство прошлого, халтура, эквивалент телевизора. В прошлом это никому не мешало творить. И сейчас творческого человека трудно застать за телевизором, и поэтому телевизор никому не мешает. Теперь искусствоведы находят в балагане много интересного, и в XXII веке они найдут много интересного в телевизоре.

Но в наш век резко выросли тиражи, и именно этот факт так пугает интеллигенцию. Во много раз выросло количество людей, которые претендуют на оригинальность. (Большинство с помощью тех же бород, икон и пр., как будто бороды в меньшей степени стандартны, чем бритые физиономии). Но еще больше появилось людей, кому по их профессии следовало бы эту оригинальность проявить. Наконец, грандиозно выросло количество людей, которые в какой-либо форме хотят попробовать продукцию этих оригиналов. Количество художников растет быстрее количества талантов, число физиков во много раз больше числа настоящих ученых, а число осведомленных зрителей и свидетелей культуры гораздо больше числа ценителей и знатоков. Отсюда и происходит впечатление повышающейся стандартизации личности, отсюда — и предчувствие опасности; это эффект не фактический, а внутрипрофессиональный. Абсолютное количество одаренных людей безусловно выросло, так как заметно выросла часть населения, из которой такие люди берутся, но, может быть, относительно их количества в соответствующих группах действительно падают, приближаясь к естественно-генетическому распределению. Ведь мысленно обращаясь к прошлому, мы сравниваем свое общество с обществом "того" времени. Но в

то время как наше общество представительно и включает чуть ли не 200 миллионов людей, "общество прошлого" включало едва ли одну десятую часть населения. Так как таланты в прошлом зачастую пробивались из всех слоев населения, знаменатель у дроби, представляющей относительное количество одаренных, вырос из-за всеобщего образования гораздо сильнее числителя. И теперь глаз гораздо быстрее устает скользить по стенам выставок в надежде встретить талантливое полотно, так как на одного талантливого художника теперь гораздо больше приложения, как и всегда увеличивается количество шлака при повышении процента добычи металла из руды, угля из породы, золота из песка. Для того, чтобы выудить последнюю золотую рыбку, придется вытащить из моря горы песка и водорослей. Миллионы бездарных художников, физиков и стихотворцев возникают и остаются как отходы производства гениев. Что же делать?

Я думаю, что жалобы на убивающую стандартизацию оправданы только у той группы "творческих работников", которые, производя вполне стандартную продукцию и жестоко страдая от конкуренции, надеются на какой-то формальный способ повышения оригинальности, например, приобретением дворянского звания, абсурдным авангардизмом или выбором чисто национальных сюжетов. Против равенства всегда выступают не сильные, а слабые. Сильные при формальном равенстве выигрывают.

*

Видеть собственными глазами... Это то, что казалось бы, в порядке вещей и вместе с тем целая жизнь уходит на что, чтобы освободиться от навязанного чужого, (а иногда чуждого) видения. Мы все безнадежно запутались в X1X веке. Наши понятия, правила игры, образ жизни, основные ценности, отношения с друзьями и женщинами — все из X1X века. Свет против тьмы, разум против религии, всемирность против национализма, материализм против идеализма, равенство против привилегий, совесть и милосердие против системы и расчета — все понятия, все противопоставления коренятся там, в X1X веке, и не соответствуют реальным антиномиям. Деление, членение мира определяет почти все последующее развитие.

Например, принято удивляться и радоваться, когда узнаешь, что должен родиться ребенок. Хотя почти все делают все возможное,чтобы это не произошло,хотя, если это происходит, для многих это серьезный удар; тем не менее принято воспринимать как правдоподобные чувства гордости (чем?) и удивленного блаженства, которые якобы охватывают молодого мужчину при таком известии, и верить актеру, который талантливо изображает это на экране. Сам актер неоднократно отбояривался от своих возлюбленных при такой ситуации. Для большинства сидящих в зале зачать ребенка — не достижение. Несмотря на это, актер искренне симулирует незнакомые ему чувства, приписывая их публике, а публика искренне сопереживает, веря актеру.

Этот сговор-недоразумение есть атавизм спокойного времени (и результат влияния вкусов старшего поколения), когда рождение полагало начало нерушимой семье, возносило мужчину на уровень патриарха и давало ему

соответствующие права. То есть он мог радоваться, превращаясь из мальчика в мужа, имеющего силу положить основание рода.

Другое дело — сейчас. Ответственность мужчины близка к нулю, так как он не очень много потеряет, увильнув от семейных обязанностей, а мизерная зарплата все равно не позволяет достойно содержать семью. Права, получаемые вместе с отцовством , равны нулю, строго, так как он не может управлять ни своей женой, ни детьми, ни юридически, ни материально. Поэтому рождение ребенка ничего не меняет ни в мужском сознании, ни в его социальном статусе, да и в большинстве случаев в 20-30 лет мужчина еще не созрел для воспитания ребенка.

Но так как литература и кино нам об этом ничего не говорят, мы по-прежнему одобряем положительного героя, который безумно радуется зачатию, как будто до этого он был заподозрен в импотенции, и узнаем отрицательного по тому, как он нервничает, подозревая, что возлюбленная забеременела. Я склонен считать этого последнего более приемлемым, ибо, если он нервничает, значит чувствует ответственность, в отличие от положительного оболдуя, надеющегося на авось. И вообще, подразумеваемая связь между любовью и зачатием, между деторождением и семьей в XX веке настолько подорвана, что нужно сначала возродить и наполнить содержанием эти ценности, а потом к ним возвращаться.

Таким же атавизмом каких-то иных условий оказывается, например, мнимая борьба материализма с идеализмом в философии, в которой нас непрерывно приглашают участвовать. Пока материализм был, что называется, "вульгарным", он имел некое содержание, которое давало ему право на существование. Как только единственным неотъемлемым признаком материи стало "су-

ществование вне нашего сознания" (В. И. Ленин, "Материализм и эмпириокритицизм") она перестала отличаться от "абсолютной идеи", "мирового духа", Бога, наконец. В конце концов обо всех этих абсолютах мы знаем одно и то же, и мне безразлично, говорить ли о саморазвитии идеи или о развитии материи, о законах самопознания Абсолютного Духа или о законах Природы. Наконец, эмпирическое познание Бога неотличимо от Познания как такового.

Также кажущаяся самоочевидной идея Равенства происходит от позыва к эмансипации, возникающего у людей высокой культуры, но несправедливо низкого социального положения в сословных государствах, где это неравенство было анахронизмом. Сама же по себе идея равной компетенции профессора и кухарки в государственных делах смехотворна. А в России эта идея приобретает даже некое трагическое звучание. Сколько сил положила русская интеллигенция, чтобы добиться буквального равенства с собой для рабочих и крестьян! Она добилась этого, и что же? Равенство это стало условием ее гибели!

В нашем XX веке равенство может оказаться условием угнетения, а аристократизм формой сохранения человечности; разум для многих может стать средством порабощения, а религия — путем к свободе; всемирность оборачивается шовинизмом и деспотизмом великих держав, а национализм — участием в мировой культуре; милосердие превращается в суету вокруг мелочи, а техника — в средство удовлетворения жаждущих, искоренения нищеты. Необходимо отказаться от этих понятий и противопоставлений, чтобы увидеть мир как есть.

Или сохранить понятия и изменить мир. Мне кажется, что именно это делают всякие революционеры, троцкисты и чегевары. Ради слов и символов эти бешеные готовы

кромсать мир, резать живое мясо. В основе лежат, конечно, не слова, а стремление к утверждению, воля к власти, позыв к насилию. Но все же свои и чужие жизни приносятся в жертву словам.

Нас приучали, что образование и интеллектуальная жизнь есть благо, оплаченное трудом рабочих и крестьян, и наш долг — приобщить их к этому благу и заботиться об их душах и телах. Но в XX веке мы видим другое: наша мысль питает рабочих, а заодно с ними большое количество бездельников, которые готовы на необеспеченное существование "хиппи" и полную опасностей жизнь революционера, лишь бы их не принудили к этой интеллектуальной жизни и образованию. Мы — интеллектуалы с рабочими вместе — превратились в дойную корову прогресса, которая кормит и поит всех этих идеологов дикости вместе со многими миллионами размножающихся дикарей, для того, чтобы служить им объектом в настоящем и тельцом для заклания в чаемом будущем.

Ощущение опасности, предостережения от увлечения прогрессом, отрицание ценностей нашей цивилизации и осуждение ее в духе опрощения, происходит от того же XIX века, от необходимости представлять мир непременно в тех же терминах и сводить его к тем же антиномиям. Откажемся от них! Что за противоречие между трудом и капиталом? И труд (простой труд), и капитал— второстепенные факторы рядом с содержанием производства, его ролью в обществе, влиянием идеологии на производство.

Само производство вещей второстепенно по сравнению с производством идей, творческой деятельностью. Дело Синявского и Даниэля показало, что творческие вопросы могут быть важнее, чем политические. В стране, где нет всеобщего избирательного права, людей гораздо

больше взволновал вопрос о писательской свободе и праве на самовыявление.

Мы привыкли, что обездоленные колониальные народы ждут от нас просвещения и облегчения в страданиях (кто не восхищается Швейцером?), принесенных им цивилизацией.

Но сейчас мы видим, что если бывшие колониальные народы и ждут от нас чего-нибудь, то, пожалуй, в основном оружия, даже какого-нибудь сверхоружия, чтобы разом покончить со своими внутренними (а такими у них являются близкие нам по духу люди) и внешними (это в конечном счете мы сами) врагами.

Что противоречие между ростом техники и падением духовности перед тем фактом, что само человечество неоднородно? И довольно большая часть его не способна освоить технику и не нуждается в духовности. Какой смысл обличать низкий уровень продукции телевидения, если во всех развитых странах имеется широкий слой населения, чьи потребности гораздо ниже даже этого жалкого уровня?

Что толку швырять миллиарды на борьбу с бедностью и развитие просвещения, если уже сейчас можно предсказать, что останется некое устойчивое и многомиллионное существо, на котором надорвутся лучшие в мире педагоги и придут в отчаяние самые неунывающие в мире менеджеры, не будучи в силах заставить их жить в достатке и полюбить чтение?

Нас учили, что люди равны, что все различия социальны, что противоречия решаются борьбой. Но человек, доживший до взрослости с открытыми глазами, не может не знать, что люди неравны, что никаким воспитанием не исправить преступный генотип и никакой борьбой не устранишь противоречия между щедрыми, восприимчивыми и косными, завистливыми. Так ли серьезны

противоречия между классами и народами, как между цивилизацией и асоциальными силами, которые заявили о себе в XX веке?

Весь мир теперь похож на Россию. Россия была моделью, уроком для будущего. И мир извлек мораль из этого урока. Цивилизованный мир далеко ушел от соблазна "классовой" политики, оценил "бунт масс" и красоты диктатуры, а мир нецивилизованный взял на вооружение "социализм" и "партию нового типа". Но осталось еще кое-что, непережеванное.

Тот великий раздел, который расколол народ, считавшийся прежде единым, та критическая ситуация, которая разрешалась расслоением, должны обратить наше внимание на культурную и генетическую однородность обществ, на психологическую (и физиологическую) совместимость (хочется по-физически сказать "смесимость") составляющих их компонент. Быть может, пристальный анализ выявит в однородных сейчас обществах признаки будущих размежеваний.

Зададим себе вопрос: "Что лежит в основе социальной стратификации?" Для ответа на этот вопрос обратимся к древней истории. Почти всюду на начальном этапе развития обществ социальное различие есть результат или, по крайней мере, след различия этнического. Спартиаты в древней Спарте принадлежат к дорическому племени, а илоты, по-видимому, к более древнему населению Пелопонеса. Кастовая система в Индии возникла как результат арийского завоевания. Господствующая элита в Эфиопии до сих пор настаивает на своем еврейском происхождении, и действительно некоторые из них

отличаются от основного населения расовыми признаками. Даже китайский император в одной из древних хроник назван "голубоглазым отроком" (Л. Н. Гумилев, "Хунну", 1967 г.). Еще откровеннее такие взаимоотношения выступают в государствах, сложившихся в средние века (думаю, что это происходит оттого, что соответствующие факты нам лучше известны). Франкское государство, русские княжества, Болгарское царство, Английское королевство, Арабский халифат, Оттоманская империя и многие, многие другие государства образовались в результате завоевания. В некоторых из этих случаев сама идея государства возникла вместе с завоеванием. В других государственная структура уже существовала, и завоеватели ее лишь использовали. Но в этих случаях всегда можно раскопать завоевателей более древних, подготовивших ситуацию. Если бы теперь я захотел сделать вывод о происхождении государства в результате военных столкновений, мне не стоило бы "ломиться в открытую дверь". Разумеется, я знаю, что существуют теории завоевания и что все эти теории вообще и варяжскую теорию происхождения Русского государства в частности наша наука, невзирая на факты, отвергает. Но я хочу не столько провозгласить эти теории правильными, сколько сказать больше — они правильны одновременно с противоположными им теориями спонтанного социологического развития. Я хочу обратить внимание на то, что здесь мы имеем один из тех случаев, о которых говорилось выше, когда любая из этих теорий как единственное объяснение фактов неправильна, но их совокупность (т. е. сочетание этнографического и социально-экономического подходов) дает понимание явления в его объеме и если не исчерпывает его, то, по крайней мере, жизнеподобно моделирует. Понимание государства просто как организации господства племени за-

воевателей над побежденным народом было бы недопустимым упрощением. Неменьшим упрощением (с оттенком фантазерства) было бы представление о государстве как об органе подавления народа его вождями и старейшинами, из которых складывалась та "родовая знать", которой нас научили приписывать создание государственного устройства.

Скажем предположительно, что производственные силы общества должны были достигнуть такого развития, при котором труд человека может быть с выгодой отчуждаем, а психологическая атмосфера при этом должна стать такой, чтобы это отчуждение оказалось в широком масштабе возможным и даже необходимым. Таким образом, экономический фактор здесь работает в сфере создания условий, в сфере возможного, а этнографический — в сфере осуществления, в сфере волевой.

Опыт варягов показывает, что отнюдь не всегда "завоевание" бывает насильственным. Возможно приглашение чужеземцев для защиты и управления. История буквально пестрит такими приглашениями. В древней и средневековой практике для создания определенных условий или развития хозяйственных отраслей всегда приглашались или насильственно переселялись народы,традиционно с этой отраслью связанные.История еврейских скитаний — это не только история бегств, но и история переселений, связанных с выгодными приглашениями. Если ассирийцы переселили евреев как искусных виноградарей и земледельцев, то русское правительство приглашало их как торговцев и ремесленников. Таким образом, примитивная политэкономия всегда связывала социальную характеристику с генотипической или, лучше сказать осторожнее, с этнографической основой.

Недавно я ездил ловить рыбу на Нижнюю Волгу. Зайдя в село, я заметил, что оно состоит из двух неоди-

наковых частей, из которых одна была вполне традиционна (избушки с палисадниками, нужники, летние кухни), а другая состояла из одинаковых кирпичных домиков, построенных правильными кварталами, как в городском поселке; интеллигентское прекраснодушие немедленно заговорило во мне: "Жизнь все же становится лучше. Вот здесь крестьян постепенно переселяют в благоустроенные дома с туалетами. Цивилизация в России движется медленно, но и за время жизни одного человека заметны сдвиги". Немного озадачивал меня какой-то монгольский вид детишек, резвившихся вокруг хорошеньких домиков. Дети в деревянных избушках были другие, белоголовые. Картина прояснилась, когда при покупке провизии мы попросили луку для ухи. "Лук корейцы сажают, у нас лук не растет". Я сходил к корейцам за луком и по дороге зашел на колхозный склад за арбузом. Взвесив мне арбуз, весовщик заинтересовался, откуда у меня такой хороший лук. Узнав, что лук от корейцев, он заскрежетал зубами: "За лук со студента деньги взять! У-у-у! Корейская душа!" И, горя доброжелательством ко мне, выкатил еще один арбуз даром: "Помни Россию!"

Корейцы, конечно, денег за лук с меня не брали, но он все равно не поверил бы, что собственный продукт можно отдать даром, и тем более не изменил бы своего мнения о жадных корейцах.

Оказывается, домики построены для корейцев, переселенных из Средней Азии для возделывания риса. Они наладили полное хозяйство и выращивают кроме риса также лук на продажу. Русские покупают лук в магазине. Причем привозной лук плохой и поступает с перебоями, однако, ничего не попишешь, чего нет — того нет. Таким образом, ассирийский способ развития хозяйства у нас еще не поколеблен. Рис у нас растет только

вместе с корейцами. Культурные хлопководы в Таджикистане — немцы. Виноградники Крыма едва уцелели после выселения татар. Все виноделы в Дагестане — горские евреи. Так же, как профессия корейца теперь рис, так профессия казаков 55 лет назад — война, так профессия евреев 200 лет назад — торговля, профессия немцев 200 лет назад — управление. Еще четче — в античном мире: римляне управляют, воюют, греки учат, развлекают и одевают, сирийцы торгуют и т. п.

Во всех случаях приглашения или переселения в результате необходимости увеличить устойчивость общества (устойчивое равновесие сложной и подвижной системы, как общество или организм, называется гомеостазисом) по отношению к внутреннему или внешнему разрушающему фактору и одновременно с достижением ближайшей цели закладывают основу для будущей неустойчивости при изменившихся условиях.

Для знакомого с термодинамикой я объяснил бы эту мысль так: подмешивая в воду при 100° С никотиновую кислоту, мы уводим ее от неустойчивости, связанной с кипением, но создаем возможность (при другой температуре) расслоения на две жидкие фазы с различными концентрациями.

Я сознательно обращаюсь в основном к материалу древней истории, так как, чем дальше в прошлое, тем дальше от той грандиозной сложности, которой характеризуется современное общество. На начальном этапе такая сложность мешает выделить тенденции. Вероятно, тех двух элементов, которые я здесь упоминал, недостаточно для современного общества даже при грубом упрощении. Однако ведь дело еще не дошло до деталей. Общество является многокомпонентной и многофазной системой, которая проявляет устойчивость по многим параметрам. Это соответствует многим воздействиям,

которые на него оказываются. Так, чукчи, которые предоставляют своих жен путешественникам, возможно, вынуждены как-то сместить генетическое распределение признаков в популяции, а ассирийцы стояли перед необходимостью обеспечить какую-то мирную жизнь в промежутках между войнами и поэтому переселяли к себе не столь воинственные народы. Таким образом, если в одном случае регулируемым фактором оказывался генотип, то в другом существенна национальная традиция. В России систематическое вырезывание непокорных славян в сочетании с обрусением терпеливой мордвы повлияло и на генотип и на традицию так, что русское правительство непрерывно вынуждено было совершать подкачку этнически чуждого элемента. Потеряв в гражданской войне 17-20 годов громадное генетическое и культурное богатство, перебив при коллективизации 23-31 годов людей, способных работать (кулаков), посадив во время чисток 33-38 годов людей, способных руководить (партактивисты 30-х годов), советское государство зато отыскало громадный резервуар, черпать из которого царскому правительству мешали предрассудки. Субъективное стремление евреев к самовыявлению совпало с объективно благоприятнейшей ситуацией, в результате чего даже многолетние последующие ограничения и преследования не могли поколебать прочности позиций, занятых евреями в ряде областей.

Таким образом, взаимовыгодный процесс, повышающий устойчивость разоренного и дезинтегрированного общества, каким была Россия 20-х годов, заложил экономические и психологические предпосылки для будущего разложения. Психологические потому, что евреи восприняли как благоприятную ситуацию, трагическую для русского народа, и экономические — потому что во

многих отраслях евреи создали такие высокие профессиональные требования, что люди без культурной традиции оказывались неконкурентоспособными.

В связи с этим я думаю, что и роль евреев, и характер антисемитизма у нас сейчас нельзя правильно понять, если мысленно производить эти явления от соответствующих феноменов дореволюционной жизни. Современный антисемитизм продолжает не традицию "Союза Русского Народа", а традицию антинемецких настроений XIX века. Во всяком случае, у современного антисемитизма есть такая тенденция.

Чем не угодили немцы русскому сердцу? На протяжении всего XIX века о некотором недовольстве немцами говорится русскими людьми как о чем-то само собой разумеющемся. Даже такой человек, как Д. И. Менделеев, не постеснялся объявить засилье немцев одной из причин печального состояния русской науки. А уж он-то мог бы оценить, как бесконечно много сделали немцы для Русского государства вообще и для его науки в частности. Официальная история ставит у колыбели русской науки спорную фигуру Ломоносова, но мы-то знаем, что у колыбели этой стояли бесспорные титаны Эйпер и Бернулли. И еще много лет после этого немецкие имена прославляли русскую науку, искусство и государственную мощь. А кто научил русских воевать? "За учителей своих заздравный кубок...". Кто построил им заводы? "Англичанин мудрый". Кто шил одежду, сапоги, перчатки? "Немецкая работа". Кто лил пушки и строил города, пока наконец из-под палки русские научились всему этому? Да и странно как-то научились, неокончательно, ненадежно...

Что мы знаем о немцах из русской литературы и народной традиции? "Немец от пива толст, от колбасы сердит, а от русских бит". "Немец обезьяну выдумал".

"Он (герой) в землю немца Фогеля живого закопал" "Три пузатых немца" и т. д. и т. п.

Евреи вряд ли могут рассчитывать на лучшее место в народной памяти. Говорю "в народной памяти".., как будто евреев уже нет в России. Я так ясно вижу мнимость их существования в России сегодня, что с трудом фиксирую внимание на настоящем их положении. Неустойчивость по одному из факторов может возникнуть гораздо раньше общей неустойчивости большой системы и задерживаться лишь внешними условиями. Наша жизнь в России — это анахронизм, поддерживаемый инерцией сознания, причем власти преодолевают эту инерцию едва ли не быстрее, чем мы сами.

Русские друзья, которые говорят нам, что мы нужны России, так же ошибаются в отношении этого понятия, как их предшественники-белогвардейцы. Они называют "Россией" ту часть, к которой (с нами заодно) принадлежат и сами и которая как раз и отторгается. Им кажется (тоже по инерции), что они еще хозяева, а они, бедные, уже странники, апатриды, жиды. Синявский назвал себя Абрамом Терцом, возможно, не ощущая пророческого смысла в таком наименовании, но это не было случайностью.

Я надеюсь, что из моих рассуждений достаточно ясно следует условность употребляемых мною терминов "еврей", "русский" и не может возникнуть впечатления, что я хочу положить какие-либо преграды между людьми. Отдельная личность вообще никак не определяется социальной или этнографической категорией (если не хочет этого), наоборот, народ определяется составляющими его лицами. Выудив лавровый лист из супа, вы не определите, каков был суп, но вкус супа определяется тем, был ли там лавровый лист...

Вот и я, будучи зерном риса в гречневой каше, героически боролся с собой, чтобы стать гречкой. Быть может, мне легче бы все это далось, если бы я мог презирать окружающих, но мне, напротив, во что бы то ни стало хотелось их любить. Еще хуже было оттого что меня тоже все любили. Мне практически не пришлось страдать от антисемитизма. Сверстники-мальчишки, соученики, соседи, сокамерники в тюрьме, сопалатники в доме отдыха, сокурсники и коллеги всегда относились ко мне с уважением и симпатией. Я — абсолютно счастливый человек. Все передряги, которые со мной приключались, происходили от моей же предприимчивости. Никто не преследовал меня несправедливо. Все, что я до сих пор задумывал — осуществлялось. Я — удачник.

Поэтому мне особенно ясно видно, насколько моя нерастворимая внутренняя структура ("камень за пазухой") доминирует над социальным опытом и жизненными обстоятельствами, насколько безнадежной была моя попытка приспособиться к окружению, мирно врасти в общее благоденствие.

Когда организм не может приспособиться к среде, он может изменить среду или создать искусственную среду вокруг себя. Вкусив от точных наук, я настолько расширил свои приспособительные возможности, что отлично себя чувствовал, даже исключив значительную часть своих интересов из реальной жизни и перенеся их в чисто теоретический план. В таком высокогорном собственном мире я жил настолько напряженно, что спускаясь изредка за провизией и развлечения ради, не испытывал никакого раздражения при столкновении с провинциальной узостью или ограничением своих возможностей.

Я долго бы еще мог существовать таким образом, если бы не дошел до технического предела, обеспечиваемого провинциальным пединститутом в области физики. Таким образом, мысль о необходимости университета возникла у меня не из житейских обстоятельств, а как развитие идеи. Препятствием для меня помимо общей сложности была моя бурная биография. Тут я (который раз!) возблагодарил судьбу за еврейское происхождение. Кадристы приходили в такое возбуждение от моего еврейства, что мелкие неувязки, получившиеся в биографии от исключения основных ее событий, совершенно не останавливали их внимания. Я обошел много университетов, прежде чем нашел университет со знакомством. Это знакомство, а также сильный недобор дали мне возможность поступить. Шел 1950 год. Стране очень нужны были физики. В физике уже работало такое громадное количество евреев, что небольшое увеличение этого числа ничего не могло изменить и отчасти допускалось.

Когда я подавал документы в Университет, я так волновался, что перепутал все свои биографические подробности и с ужасом глядел на всесильную завспецотделом, ожидая разоблачения и изгнания. К моему удивлению, она, продолжая сохранять на лице проницательность и даже разоблачительное выражение, пропустила мимо ушей всю чушь, которую я ей порол. Больше того, она аккуратно записала эту чушь и положила в мое личное дело, которое пролежало в ее бумагах все годы моего учения, являясь источником страхов и постоянной неуверенности в будущем. Впоследствии знающие люди объяснили мне, что в личное дело заглядывают только при поступлении доноса, так что многочисленные разоблачения, так и кипевшие вокруг меня в эти годы, происходили не от бдительности спецотдела, а от тайных импульсов в подсознании товарищей и коллег. Видимо,

хорошо я перековался, если за пять последующих лет не нашлось ни одного завистника, который написал бы на меня какую-нибудь телегу.

Зато позже ни одно анонимное письмо, поливавшее грязью институт, где я работал, не обходилось без упоминания моего имени с присовокуплением нелестных эпитетов.

Почему люди у нас так часто пишут доносы, анонимки? Почему проблема недонесения — чуть ли не одна из главных в сознании советских людей? Отчего донос нам кажется самым непростительным грехом, несравнимым с другими, не имеющим срока давности?

Я думаю, что это связано с особой ролью информации в нашем государстве, проявляющейся и в мании секретности и в номенклатурном распределении информированности ("белый ТАСС", "красный ТАСС", "закрытое партсобрание", "собрание партактива" и т. д.), и в продолжающихся попытках заглушения иностранных радиопередач.

Такое особое отношение к информации в России отчасти традиционно и близко к идеологии католицизма, который в прошлом с необычайной щепетильностью воспринимал любой оттенок инакомыслия в существенных для себя вопросах.

Практически такая строгость неоправдана, так как от знания или убеждения до реального действия путь обычно далекий очень, и непосредственной угрозы существующему порядку идейные движения сами по себе не содержат. Однако при наличии идейной жесткости властей, путь от идеи к воплощению резко сокращается. При своем формировании в таких условиях неортодоксальная идея очень скоро должна быть юридически осознана как крамола и, следовательно, предвестие мятежа. Так как покушение на мятеж в подобных усло-

виях приравнивается к мятежу, несчастному носителю идеи не остается ничего другого, как взяться за оружие. Так власти сами подстегивают нежелательное развитие событий. Возможно, протестанты веками бы жили в католических странах и обсуждали догматы своей веры, если бы Папа и католические короли не преследовали их. Защищая свою безопасность, они вынуждены были воевать за свободу, перекроить карту Европы и лишить Папу больше чем половины прихожан и практически всех подданных.

Так и у нас, позволь правительство существовать другим идеологиям, они долгое время развивались бы в виде предположительных вариантов будущего устройства или чисто внутреннего существования. Энергия многих была бы поглощена разногласиями по поводу деталей этих устройств.

Общий запрет сразу делает эти разногласия несущественными, а практическую борьбу за освобождение совершенно насущной. Для инакомыслящего это в конечном итоге вопрос безопасности, как и в прошлом для протестантов. Даже такая мирная идея, как христианский социализм, проявляется у нас в виде конспиративного заговора и подготовки к восстанию (дело Огурцова в Ленинграде).

Таким образом, практическая польза правительству от политики репрессий по меньшей мере сомнительна. Ключ к познанию истоков этой нетерпимости следует искать не в практической сфере, а в идейной. Здесь аналогия с католической церковью имеет эвристическое значение.

Католицизм как идеология связан с догматом о непогрешимости Папы. Именно это слово — "непогрешимость" — удачно характеризует тот идеал, который

маячил перед мысленным взором создателей и столпов русского самодержавия и был наконец осуществлен И.В. Сталиным. Это же слово, производимое нами от "погрешность", в его терминологическом значении ведет нас к пониманию особенностей соответствующей системы.

С точки зрения ученого непогрешимое государство означает большую динамическую (в отличие от статистической вероятности) систему, управляющую без погрешности всеми составляющими ее элементами. В физике известно (см., например, "Что такое жизнь с точки зрения физики", Э. Шредингер), что такая система в принципе осуществляется только при весьма низких температурах. В пределе — при абсолютном нуле. Непогрешимо управляющая система должна быть также всеведущей, чтобы ее управление было всегда эффективным. Таким образом, информация в такой системе есть подсобное средство управления и является одновременно и необходимостью для определенного уровня руководства и эффективной силой, которую это руководство должно оберегать от чужих рук. В принципе, для полного всеведения, которое одно может дать полностью непогрешимое руководство, необходимо детальное знание о любой, сколь угодно малой части системы. Поэтому донос на Любку, которая в позднее время через черный ход и кухню водит к себе в комнату непрописанных мужчин, также несет свою государственную функцию. Государство, которое позволит Любке себя обманывать, не сможет достигнуть всемогущества, происходящего от всеведения и непогрешимости. Всякое отклонение от "единственно правильного" взгляда, заведенного порядка или принятого образа действий есть тепловое возбуждение, повышающее температуру и тем самым посягающее на идеал. То, что борьба

с такими отклонениями расшатывает систему еще больше, не может остановить ее приверженцев, так как никакие практические соображения не идут в счет перед лицом оскорбления святыни. Так же и тот факт, что такая идеально управляемая система движется в совершенно произвольном и, во всяком случае, не первоначально избранном творцами направлении, не может иметь значения по сравнению с эстетическим восторгом перед иллюзией динамической системы.

К счастью, это только иллюзия, романтическая мечта, как и идея мирового господства. Реальная система не может достигнуть состояния абсолютного нуля ни в физике, ни в социологии. Это связано, наряду с другими факторами, с невозможностью осуществить полную замкнутость системы. Конечно, наша изоляция от остального мира значительна, но отнюдь не абсолютна. В дальнейшем, когда я перейду к другим понятиям, станут ясны и другие причины неидеальности. В общем, они коренятся в том простом и отрадном факте, что общество состоит из большого числа индивидов с разными интересами и стать вполне динамичной системой не сможет. Управление может быть только статистическим в соответствии со свойствами объекта.

"История культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основании традиции, неизвестным же, каждый раз новым, — актуальный момент текущей культуры".

"Мир построен из двух времен, наличного и отсутствующего".

Б. Пастернак "Охранная грамота".

Мама училась на истфаке. Поэтому в детстве я каждый день засыпал под разговоры взрослых о раскопках, о погребениях, о надписях. О германцах, прыгающих через костер, и о гуннах, уродующих лица шрамами. Об Атилле, пившем кровь, и о Роланде, трубившем в рог. Часами я лежал и слушал, и порою детское негодование охватывало меня: взрослые никогда не договаривали до конца. Кто-нибудь начинал интереснейшую историю, и в самом драматическом месте все вдруг почему-то начинали хохотать, или выезжал вдруг какой-нибудь остряк с анекдотом "кстати",или вскипал чайник и они, как из голодного края приехавшие, набрасывались на еду и забывали про все. Я бы напомнил им, но ведь тогда они и вовсе бы замолчали, "чтобы не мешать спать ребенку". Боже! Как они мешали мне спать своими недоговорками! Как трудно было проследить ход сюжета вопреки всяким выскочкам: "Ну, это что... А вот я". Как невыносимо затягивали повествование остряки! Эти вечерние часы были самой напряженной

частью моего дня. Вся сдержанность, какая у меня есть, была воспитана тогда, но и безудержная воля к цельности композиции, к проявлению сюжета, тоже. Конечно, я тогда не все понимал и не воспринимал, наверное, подразумеваемого и общеизвестного, но и теперь я часто испытываю те же муки. Люди вокруг говорят кусками фраз, кусками слов. Они живут кусками жизней и думают кусками идей. Большинство из них овладевает только куском профессии (это называется профессионализмом) и удовлетворяется лишь частью выводов, которые можно сделать из их сугубо частных посылок.

Благодаря маминым занятиям я всегда интересовался историей. Афины и Спарта, Ганнибал и Сципион, Каролинги и Капетинги присутствовали в моем сознании с тех пор, как я себя помню. Когда я в пятом классе узнал, что "вся история есть история борьбы классов", мне нелегко было совместить свои живые представления о древней истории с этой формулировкой. Трудно было понять, патриции ли эксплуатировали плебеев или наоборот. И как же понять тот факт, что они в конце концов помирились? Еще более странно выглядела с этой точки зрения борьба аристократии с демократией в греческих городах. Аристократы в Спарте жили добродетельно и бедно, подавая нам пример гражданских доблестей, а демократы в Афинах купались в роскоши, обслуживались рабами и сплошь и рядом предавали друг друга. Если это и была классовая борьба угнетателей с угнетаемыми, то настолько непохожая на современную, что определение это скорее мешало, чем помогало что-нибудь понять.

Иначе выглядели эти же факты, если я рассматривал их, например, в связи с идеей рабства и принуждения. Аристократы (и патриции тоже) как люди, связанные традицией и племенной моралью, не могли воспринять

рабство как образ жизни и ориентировались на хозяйственный уклад, близкий к феодализму, а не имеющие почвы и лишенные сантиментов плебеи прекрасно конкурировали с ними, пользуясь только бессовестным, зверским принуждением рабов. Их победа, которой нас учили радоваться, и предопределила последующий расцвет и окончательный тупик, в который зашла эта цивилизация. Этот урок научил меня, что историю имеет смысл рассматривать не как единый процесс, а по отношению к определенной структуре или в связи с развитием идеи. Только тогда может обнаружиться однотипность, свойственная человеку во всех его проявлениях.

Поступив в институт, я все каникулы проводил в археологических экспедициях, участвуя то в раскопках хазарских городов, то в поисках наскальных рисунков, то в обмерах дольменов. Меня заинтересовало, что мусульмане в Дагестане не признавали раскопанных хазар своими предками и начало своей истории связывали с исламом. Горские евреи тоже отрекались от хазар и производили свою родословную от израильтян, плененных ассирийцами. Куда же делись хазары? Л. Н. Гумилев ("Хазары", 1969) говорит, что от хазар произошли донские казаки. Может быть, это и так, но сами казаки считают себя потомками русских, не пожелавших терпеть крепостное право и сбежавших на Дон. Может быть, на самом деле все эти три народа произошли от хазар, но сами этого не сознают?

В трех этих случаях есть общая мысль — свою историю люди представляют как развитие или сохранение некоей национально-культурной идеи, кроме общего людям стремления идеализировать (или мифологизировать) свою жизнь, содержится еще понимание времени как направленного изменения.

Когда я веду машину, я держу постоянную скорость, не требующую от меня напряжения. Я делаю это автоматически, не глядя на спидометр, и повышение скорости выше этого легкого для меня предела резко повышает мое напряжение и усталость. И вот, обратив внимание на спидометр, я заметил, что эта стабильная скорость на улицах города — 40-50, а на открытом шоссе — 80-100 км/час. При этом у меня сохраняется не только физиологическое ощущение одинаковой нагрузки, но и обманчивое впечатление одинаковой быстроты движения.

Это связано с тем, что скорость определяется по быстроте набегания препятствий и смене предметов у обочины. На улицах вплотную стоят большие дома заставляющие резко менять угол зрения, и близко ходят люди, каждый из которых потенциальный нарушитель и жертва, а на шоссе, далеко от края, стоят маленькие домики, целиком охватываемые глазом, редкие люди видны за сотни метров. Внутренний спидометр работает в этих случаях по-разному и задает нам разный темп движения.

Так же надо относиться и к движению в истории. Продолжительность исторических периодов, вообще говоря, условна. Однако по отношению к некоторым вещам время оказывается весьма объективным и в саморазвитии определенных структур постоянным.

Имея большой опыт оперирования понятиями и даже привыкнув иногда принимать понятия за сущность, мы легко формулируем, что физическое время — всего лишь шкала, на которой фиксируется изменение чего-то. Но чувство воспринимает время как сами эти изменения. Вполне в духе науки допустить, что шкала деформируется в связи с реальными изменениями. Объективное

время — шкала — не реальное время, а идея времени такая же абстракция, как идея длины без ширины или идея материальной точки (вес без объема).

Поэтому реальное историческое время не находится в постоянном соотношении с астрономическим временем. Оно определяется как продолжительность народной жизни по изменениям на некоторой моральной и экономической шкале. И возраст народов тогда определяется не веками, а присутствующим в сознании опытом. Быть может, возраст цивилизации определяется ее памятью? Западная цивилизация, к пасынкам которой принадлежим и мы, охватывает эффективной памятью 2-3, а более схематично — 5-6 столетий. Более ранние события V-VII веков выступают как предмет для интерпретации специалистов, а не как народный опыт. Может быть, это предельно возможный срок. Античный мир в первом веке также имел 5-6 веков достоверной предшествующей истории, вполне осознавшейся как целое и еще 5-10 легендарных. Вопреки всему, что говорится об античности как о "детстве человечества", глубокая искушенность ее писателей и полное отсутствие наивности у государственных деятелей производят скорее впечатление пресыщенности культурой и, следовательно, дряхлости.

Память русского человека XX века отягощена значительно меньше. В народе жило в лучшем случае одно столетие, а средняя интеллигенция дотягивала свою историю до Петра. Только крайние русофилы помнили на три века вглубь (до Ивана Грозного). Дальше — область легенд.

И вот возникает мысль: что толку нам от этих легендарных веков, если мы их не чувствуем? Стоит ли русским считать время от Рождества Христова, если их крестили через десять веков после этого? Идея Христа

для них родилась на 10 веков позже и, соответственно, на 10 веков позже была понята и до сих пор не усвоена.

Кельтские и германские племена Западной Европы были крещены и начали цивилизованное существование в IУ-У1 веке новой эры, к X1-XIII векам доросли до фанатической преданности этой идее, выразившейся в Крестовых походах, а к ХУ-ХУII векам настолько освоили ее, что отвергли авторитет Папы — пожелали сами толковать Библию. Этот последний момент называется Реформацией. Только после него началось духовное и техническое развитие, которое привело к настоящему положению дел.

Но Россия существует не в этом послереформационном времени, а в предшествующем периоде, и ее проблемы — проблемы Реформации. Крещение в X веке, фанатизм раскольников в ХУII и появление реформистских течений (Чаадаев, Хомяков, Соловьев, Лев Толстой, например) в XIX-XX веках намечают периодизацию, которая свидетельствует о чувстве времени, близком к западноевропейскому. Ощущение трагедии — не сам ход русской истории, а его сопоставление с современной ему практикой Европы. Русский народ не тупее других, но он позже начал. На первый взгляд кажется, что нет ничего проще, чем заимствовать. Парадокс истории состоит в том, что заимствовать что бы то ни было народам всего труднее. Наиболее динамичные типы в народе заимствуют не только сами, но и соплеменников принуждают, но косная природа берет свое, и заимствование локализуется в тончайшем слое. Петр Первый думал, что он сдвинул с мертвой точки всю свою великую страну, а стал лишь Моисеем небольшого избранного народа, который уже в 1825 году продемонстрировал свое отще-

пенство на Сенатской площади. Каждый раз попытка резко приблизить русскую общественность к уровню Запада кончается возвращением почти на прежние позиции.

О том, как трудно заимствовать даже практические умения, говорят в России и картофельные бунты, и немецкие булочные, и китайские прачечные. Если даже для возделывания риса нужно переселять корейцев, то можно ли рассчитывать на восприятие народом правосознания за 3-4 века до зрелости? Поразительно, до какой степени большой социальный организм оказывается автономным в своем развитии и похожим на биологический своим неприятием чужеродных веществ. Малые организмы обнаруживают бо́льшую пластичность и более тонко приспосабливаются к среде. Однако определение большого и малого в разные века разное.

Евреи получили свою великую идею — Единобожие — между XIX и XII веками до новой эры и к VII-V векам были охвачены этой идеей настолько, что плен и рассеяние уже не смогли привести к ее растворению или к видоизменению. Начиная с этого момента в еврействе нарастает — и к первым векам до нашей эры прорывается — реформация этой идеи, которая приобретает всемирно-историческое значение.Разделение на школы саддукеев, фарисеев и ессеев, наступление Иуды бен Хизкии (Иуды из Гамалы), рабби Гилеля и Иоанна Крестителя, образование синагоги как молитвенного собрания вне Храма имеют точные аналогии в истории европейской Реформации и соответствуют моментам саморазвития библейской идеи. Веком позже социальный радикализм зилотов, проповедь христианства и благородный гуманизм Филона Александрийского углубляют сходство ситуаций, которое выступает из каждого описания Иудейской войны, с религиозными войнами во Франции, Гер-

мании и Нидерландах. Таким образом, с разрывом в 20 веков мы видим то же членение и такую же меру инертности тогдашних евреев по отношению к культурной идее. Христианство, как оно представлено в первом веке, не выходит за пределы реформации библейской религии, и распятие Христа фиксирует момент в психологии народа, который в Европе воспроизводится сожжениями Яна Гуса, Дж. Бруно и Сервета (XУI-XУII вв.), а у нас смертным приговором петрашевцам, отлучением Толстого, изгнанием Бердяева, Сорокина и др., убийством Б. Пильняка или Н. Вавилова — XIX-XXвв. Большевики четко проявляются как одно из крайних течений русской реформации и имеют прочные корни в народном сознании.

Поэтому христоубийственные склонности русского народа, многосотлетняя травля лучших своих людей и самоистязательские варфоломеевские ночи — суть признаки не патологической извращенности, а полноценного отрочества.

Своеобразие этого развития не в нем самом, а в том, что оно осуществляется на глазах взрослых и в полном пренебрежении их опытом, что значительная часть населения России смотрит на это развитие не изнутри, а снаружи, глазами взрослых, для которых этот детский садизм омерзителен и страшен.

Жертвы Инквизиции были не в таком трагическом положении, как мы. Они были на уровне современников, представляли сторону в споре, и даже их гибель была для них осмысленной частью борьбы. Мы живем в другом времени, видим то, чего наши мучители не видят, и погибаем вследствие недоразумений и жестокости людей, которые не ведают, что творят. Они даже не способны понять, что мы не враги им.

"О характере любого общества можно многое узнать из его социальных конфликтов и столкновений. Когда капитал был ключом к экономическому успеху, существовал конфликт между богатыми и бедными. Деньги были разделительной чертой... В наше время людей разделяет образование...

В политике также отражается эта новая форма расслоения в обществе. В США возмущение и подозрительность направлены теперь не против капиталистов и вообще богачей. Теперь с опаской и тревогой смотрят на интеллигенцию... Полуграмотные миллионеры становятся лидерами или финансовыми покровителями невежественных сил в борьбе против тех, кто привилегирован в интеллектуальном отношении и черпает в этом удовлетворение. Именно в этом отражается существенное классовое разделение нашего времени".

Дж. Гелбрейт, "Новое индустриальное общество", 1969.

Мы... Не так уж много людей, составляющих это "мы".

На процессе в феврале 1966 г. А. Синявский мягким лекторским голосом, стараясь не задеть идолопоклоннических чувств судей и согласной с ними толпы (в обвинении все время фигурировали понятия "святыни" и "кощунства"), объяснял, что художественная литера-

тура не может вменяться автору как преступное деяние, что речь героя — не авторская речь, что тропы нельзя понимать буквально, что "значение образа в литературе тем точнее, чем..."

Сидевшие в зале "литераторы", сотрудники ГБ и лица, совмещающие две эти профессии, раздраженно шептались: "Он думает — это ему лекция! Следы заметает! Ты про литературу мозги вкручивать брось! Ты про себя скажи!"

И когда он сказал: "Если я действительно другой, непохожий на вас, идеалист, так уж сразу ругаться!..", они окончательно поняли: "Выкручивается гад!" Понять смысл и истинный пафос этого негодования можно, только зная, что редкие сидевшие среди публики интеллигенты говорили, в сущности, то же самое: "Уж раз попался, чего хитрить? Лекции читать о литературе! Врезал бы им как следует! Про все сказал бы им, гадам, от души!" В. Тарсис на весь мир провозгласил, что презирает Синявского и Даниэля за то, что они печатались под псевдонимами. Когда вскоре после этого проходил процесс Галансков-Гинзбурга, сочувствие интеллигенции к подсудимым было всеобщим.

В выборе между Христом и Вараввой народ снова подтвердил свое пристрастие к злобе дня и пренебрежение истиной. Хотя в этом втором случае дело было действительно политическим, хотя вмешательство было опаснее, а основания для этого вмешательства сомнительнее, члены творческих союзов прямо-таки рвали друг у друга подписной лист: "Освободи Варавву!"

Вступиться за Даниэля и Синявского им было не так легко. Шли долгие дискуссии об их талантливости (как будто бездарным писателям место в лагерях), о праве пользоваться псевдонимами, о степени антисоветскости

в их писании (для некоторых эта степень была недостаточно велика, чтобы за них заступиться), о мотивах их поступка. И это, несмотря на то, что дело глубоко задевало профессиональную сферу, ставило вопрос о творческой свободе и давало счастливую возможность сохранить видимость аполитичности.

Конечно, известную роль играет и то, что дело Синявского-Даниэля проходило на год раньше. Ведь в деле Пастернака те же люди вели себя еще хуже. Но главное — все же степень затронутости, определяющая зрелость народа, его положение на исторической шкале. Главное — соответствие индивидуальной идеи, типа личности уровню народного сознания, способности народа принять, усвоить и способности героя вжиться, ощутить свою правоту. Генерал Григоренко и многие другие демократы — счастливые гармоничные люди, патриоты, активно и искренно участвующие в историческом процессе. Тяжелее положение Л. Богораз и Н. Горбаневской, А. Гинзбурга и др., вынужденных упрощать свою позицию, чтобы быть понятыми. Поистине ужасна судьба А. Амальрика, чьи взаимоотношения с действительностью решительно не могут уместиться в Прокрустово ложе демократического движения.*

Однако к числу чуждых, "других", "взрослых" принадлежит множество людей (особенно инженеры, ученые, художники), которые вовсе не сознают этот факт в социологических терминах. Свою чуждость окружению они интерпретируют как общее явление и вслед за Л. Д. Ландау обоснованно считают всех людей баранами.

Вот почему мы сталкиваемся с тем парадоксальным фактом, что многие творческие люди у нас в стране с пренебрежением относятся к демократическому движе-

*Когда я писал это, Н. Горбаневская и А. Амальрик еще жили в России, и даже вопроса об их эмиграции еще не могло возникнуть.

нию и с трудом преодолевают раздражение, когда отголоски этого движения проникают в профессиональную сферу. Мужество А. Сахарова — двойное. Ему пришлось преодолевать не только противодействие властей, но и увещевания коллег и единомышленников. Его программа — технократическая доктрина, ориентированная на европеизацию русского народа, — совершенно нереалистична именно вследствие своей осуществимости. Такая программа по плечу лишь правительству, способному на подвиг Александра II. Но так как последствия такого подвига уже известны, ни одно реальное правительство в России на него не пойдет. Успех в России может иметь лишь программа, учитывающая мифологическое сознание народа и поэтому предельно мифологизированная. Программа, предлагающая нам, например, обеспечить мировое господство с помощью столоверчения, соберет больше сторонников среди людей, имеющих шанс пробраться к власти (а никто из интеллигентных людей такого шанса не имеет), чем предложенная А. Сахаровым программа экономической и психологической конвергенции с Западом. Как совершенно западный человек, Сахаров обсуждает различные способы конструктивного, технического решения наших проблем и выгоды творческой свободы, забывая, что природа наших трудностей — психологическая или даже идеологическая и творческая свобода по отношению к этой идеологии не нейтральна.

Вообще утилизировать творческую свободу народ может только на очень высокой стадии развития, которая у нас еще не достигнута. Принятие одной какой-нибудь доктрины, даже в вопросах, безразличных с государственной точки зрения, автоматически означает у нас отвержение всех других. История лысенковской биологии, вильямсовского травополья, дискуссий о

квантовой химии и телепатии, атомного засекречивания и пр. свидетельствует о наличии у наших соотечественников наивной веры в существование окончательной и исчерпывающей истины. Они в своей дикости полагают, что эта истина может быть разом открыта или засекречена.

Только спустя век или два после Реформации Европа начала осознавать, что ее богатством являются все наличные течения, в том числе и ортодоксальные. Научная свобода, религиозная и политическая терпимость XVIII-XIX веков есть всего лишь бережливость хозяина, который осознал права собственности в отношении своего достояния.

Библейский текст, составленный в I веке новой эры, поражает своей идеологической неоднородностью и культурным богатством. Если бы канон составлял фанатик Пятикнижия, буквально понимающий каждое слово, вряд ли мы узнали бы об Исайе, Иеремии и Иове и наверняка бы лишились Экклесиаста и Песни Песней.

Такую же свободу от предвзятости и уважение к культурной ценности как таковой, какую проявили составители библейского канона в I веке новой эры, проявили и составители Талмуда в последующие века. Библейский текст несет ортодоксальную еврейскую идею вместе с ее реформистскими вариантами, с социальными и философскими ересями и бытовой светской поэзией. Это значит, что их терпимость и понимание культуры было не ниже того, которое сложилось в XIX веке в Европе. Это естественно, если учесть, что канон составлялся уже после Реформации и Иудейской войны.

Это значит также, что еврейский народ восемнадцать веков усваивал полноценную духовную пищу, морально эквивалентную (точнее, эквипотенциальную) последним достижениям цивилизации. Такая многовековая трени-

ровка естественно объясняет неожиданную готовность евреев ко всем достижениям Запада, обнаружившуюся в XIX веке. Забитые, "темные", "невежественные" евреи гетто, которых среди интеллигентных людей полагалось жалеть, за одно столетие стали цветом человечества, солью земли, влияния и даже тирании которых стало возможным бояться. Вопрос об отношении к евреям превратился чуть ли не в вопрос мировоззрения, а их интеллигенция заняла почетное место во всех национальных интеллигенциях мира.

Я думаю, что это невероятно бурное развитие еврейского народа — кажущееся. За столетие (XVIII-XIXвв.) изменились не евреи, а окружающий их мир. То, чем обладали евреи все предыдущие столетия, только в XIXвеке стало украшением и ценностью. Свои способности и подготовку евреи смогли проявить только в век, когда эти качества стали экономически и морально актуальными И тогда обнаружилось, что они в массе обладают качествами, которые у других народов еще только предстоит развивать и которые сейчас встречаются у них лишь в виде редкой примеси.

Даже воспитание этих народов в течение одного-двух столетий еще не привело к тому же уровню, потому что кроме воспитания существен еще и отбор. В течение многих веков осуществлялся отбор среди евреев. Только потомки самых упорных, самых изобретательных и интеллектуальных называются теперь евреями. Покорные крестились, трусливые перекрасились, глупые были убиты. Многие, способные к растворению, ассимилировались.

Не удивительно, что немногие оставшиеся отличаются меньшей дисперсией психологических свойств, большей культурной однородностью и вместе с тем большим

индивидуализмом, чем другие народы. Это особенно хорошо видно на дураках. Даже очень глупые евреи житейски сообразительны, сметливы, динамичны. Напротив, умные — часто весьма непрактичны, но зато равнодушны к жизненным благам и живут, как чертополох, без воды и пищи. Это — тоже форма приспособления. Удивительно, что не все могут это понять. По-видимому, и повышенный динамизм американцев происходит от отбора, который был положен в основу переселения.

Современная жизнь творит такой же отбор в культурных народах, какой в прошлом история совершала среди евреев. Сейчас русскому мальчику так же трудно поступить в университет, как еврейскому в прошлом столетии. Школы и университеты систематически отбирают самых способных, научная деятельность и современное производство постоянно выделяют наиболее упорных и изобретательных, различные формы соревнований все время отличают самых сильных, самых красивых, самых волосатых, даже самых прожорливых. Но отличительная черта современного отбора состоит в том, что забракованные не погибают. Они остаются тут же и все громче требуют внимания. Если в прошлом крестившийся кантонист становился русским мещанином и в дальнейшем на отбор не влиял, а шинкарь, не сумевший перехитрить гайдамаков, бывал зарублен и даже подавал таким образам поучительный пример детям, теперь студент, оказавшийся не способным научиться математике, способен, однако, участвовать в движении за перестройку учебных программ и заметно повредить остальным. Десять миллионов хиппи в США, которые по разным причинам не хотят участвовать в современнои гонке, способны помешать развитию тех, кто в этои гонке хочет и может участвовать. Хиппи должны были бы самоопределиться и поселиться на Таити, вдали от войн,

машин, в непосредственной близости к танцам под луной и плодам хлебного дерева. Люди, которым не хватает коллективизма и факельных шествий с песнями, должны были бы ехать в Китай и среди себе подобных бороться за культурную революцию. Они уравновесили бы непрерывную "утечку мозгов" из слаборазвитых стран притоком своей высокоразвитой спермы.

Непрерывная эмиграция интеллигенции из стран "третьего мира" в Европу и Северную Америку показывает, что способные и динамичные люди предпочитают с напряжением участвовать в прогрессе и соревновании, а не наслаждаться безделием в своих неутомительных странах. При этом статистика показывает, что основным фактором эмиграции является психологическая атмосфера в стране, а не перепад жизненного уровня.

Здесь мы видим, что расслоение идет не столько по национальным, сколько по психологическим типам. "Свободный мир", стремясь к самовыявлению каждого, дошел до обнаружения той подспудной молекулярной неоднородности, которая была положена в основу их народов и общин, и теперь он должен что-то с этой неоднородностью делать. Неоднородность эта осознается отчасти как взрыв национализма, но рано или поздно она выступит в своем истинном виде, без национальной одежды и потребует внимания. Свобода самовыявления, которая создана западным обществом, легализует также выявление антисвободных, асоциальных тенденций, которые существуют в каждом народе и каждом человеке.

Полная свобода была благом лишь до тех пор, пока она была доступна только меньшинству, способному преодолеть материальные трудности, то есть пока действовали факторы отбора. Она стала все чаще оборачиваться злом, когда преодоление этих трудностей взяло

на себя общество и бунт стал бунтовщику дешево стоить. Может быть, это путь к гибели.

Но возможно,что в современном обществе выработается некий духовный апартеид, благодаря которому разные духовные структуры смогут сосуществовать не пересекаясь. Сейчас хиппи США имеют свои общества, свои магазины, свои университеты. Итальянцы, евреи, квакеры, мормоны и многие другие имеют свои общины, внутри которых находят понимание единомышленников и за пределами которых они способны примириться с окружающими. Развод лучше убийства и если можно развестись, то совместная жизнь переносится легче.

* *

"Вероятно, именно Апокалипсис и дает правильное представление о воззрениях иудеев, у которых вообще конкретные факты обычно принимают форму общих рассуждений".

Т. Моммзен "История Рима", т.У.

"У русских слишком увлекающиеся характеры, чтобы они могли любить идеи, особенно идеи отвлеченные: их занимают только факты".

М-м де Сталь.

Чем дальше от юношеского возраста, тем дальше события в сфере мыслей заслоняют от меня события житейские. Вернее, можно было бы сказать, что с возрастом я все меньше пищи для своей внутренней жизни извлекал из внешних событий. Связано ли это с воз-

растной эволюцией, приводящей к обособлению духовной жизни от физической, или с тем, что социальная обстановка толкает нас на создание внутренней среды, независимой от внешнего мира, которым манипулирует чужая воля? Пожалуй, в большей мере первое, чем второе. Каждый драматический момент в юности духовен. Не в том смысле, что он облагораживает, а в том, что он бесследно для духа не проходит. Независимо от его происхождения он формирует личность и всегда имеет четкий знак плюс или минус для юной души.

Для взрослых косвенность, нейтральность событий по отношению к духу становится почти желаемой нормой. Хотя драматизм действия не слабеет, вторичность его выступает столь очевидно, что в повествовании возникает искушение отбросить биографические рамки и обратиться непосредственно к резюме. Однако как при опубликовании экспериментальной работы необходимо описание условий опыта и измерительных средств, чтобы дать читателю материал для адресования сомнений, мысленных проверок и введения поправочных функций, так и при изложении концепций и взглядов должны быть охарактеризованы условия их возникновения и душевный склад автора. Поэтому моя откровенность носит подчиненный характер и ничего общего с потребностью в исповеди не имеет.

В результате и юношеские увлечения, и любовь, и рождение сына, студенческое бедствование, профессорское процветание и даже последующая травля не найдут никакого отражения в моих записках, если не будут мне нужны для описания моих мыслей.

Сын внес в мое сознание опыт, который в собственном детстве не осознается. Меня поразило, в частности, что ребенок воспринимает абстрактные качества как непосредственную конкретность. То есть он видит

красное и желтое, слышит благозвучное и режущее слух, осязает мягкое и мокрое, а не предметы, обладающие этими качествами. Видение предметов есть результат обучения.

Напротив, на той стадии сознания, на которой мы застаем себя в воспоминаниях, мы уже привыкли к тому, что непосредственные конкретности суть предметы, и именно предметы мы видим, слышим и осязаем. Качества мы выделяем из предметов с помощью абстрагирующей работы мыслей, как линии выделяются нами из мира поверхностей. Наш мир — это мир поверхностей, ибо мы не летаем, и объемность мы видим как результат синтеза.

Линии возникают при анализе чувственного мира и в сознании занимают место, промежуточное между чистым ощущением и понятием. Поэтому качества эти для нас отчасти эмоционально приглушены, так что нужны художники, скульпторы и поэты, чтобы возродить и напомнить нам детское упоение чистым качеством как ощущением. Так называемое реалистическое восприятие с возрастом настолько укрепляется, что нам трудно бывает вспомнить соподчинение абстрактного и конкретного в ходе приобретения опыта. Предмет, его целостность, даже его единичность есть абстракция, сложившаяся в мозгу, привыкшем членить и синтезировать реальность и воспринимающем этот свой ранний опыт как доопытную данность. Конкректное и абстрактное могут меняться местами в сознании. Либо мы воспринимаем конкретные качества и из них синтезируем предмет, который есть, таким образом, результат культуры, либо, напротив, воспринимаем конкретные предметы и, анализируя восприятие, членим его на качества,

превращающиеся у нас в результате работы мысли в формы бытия. И эти формы, конечно, тоже производные от культуры.

Ясно, что хотя для культуры в целом важны оба этих подхода, для каждого человека один из них будет преимущественным.

Обсуждавшееся противопоставление не единственно возможное. В принципе, почти столько типов организации мира из элементов и самих элементов, сколько людей, или, по крайней мере, самобытных людей. Но сейчас я хочу подчеркнуть один из источников творчества, проходивший в истории как особенность еврейского духа. Для одной души качественная дробность мира, осязаемость и единичность предметов есть непосредственная реальность, от которой лишь в результате напряженной работы мысли можно перейти к концептуальным заключениям, а для другой — единство мира, взаимосвязанность и взаимопроникновение предметов может явиться первичным чувством, а конкретные проявления этой природы, чувственные феномены — лишь результатом последующего внимательного наблюдения. И отмеченные в эпиграфе особенности сознания вырастают в моих глазах в противоположность мироощущений. Хотя, конечно, и Моммзен и м-м де Сталь в конечном счете ошибаются, в их поверхностном наблюдении есть статистический *(см.стр.139)* смысл. Для Т. Моммзена эмоционально наполнены "конкретные" факты из истории Римской империи и раннего христианства и вовсе лишены чувств "общие рассуждения" Иоанна Богослова.

Но я открываю Апокалипсис и читаю:

"И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, ни даже посмотреть в нее".

Какие конкретности мне мог бы привести этот немецкий трезвенник, чтобы задеть чувства столь основательно, как задевают меня эти общие рассуждения? Не очевидно ли, что слова сии диктуются сильнейшим чувством и не являются для автора "рассуждениями"? Тяготение к универсальности знания и космическое чувство не означают склонности к абстракции. Это такое же конкретное чувство, как голос или тоска по родине. Не по той родине, что покинул, а по той, что обрел.

Только таким живым, напряженным чувством можно объяснить самоотверженность Эйнштейна, обрекшего себя на титанический труд по созданию единой теории поля, на котором он надорвался. То же цельное чувство, которое владело Иоанном при создании его картины Мира, ощущается в маниакальном упорстве, с которым З. Фрейд и К. Маркс пытались вывести все свойства людей и общества из единого принципа. Я воспринимаю Апокалипсис как книгу непосредственную и, в существе, реалистическую. Незнакомство с символическим языком и многими общеизвестными для современных автору читателей фактами приводит нас к мистическому прочтению книги...

Мне кажется, что евреи вообще редко бывают мистиками. Разделение мира на видимый и потусторонний претит душе, вкладывающей в понятие гармонии представление о единстве замысла.

Если это чувство цельности (заставляющее страдать даже от расхождения между писаным и подразумеваемым, а не то что реальным) и возникло от укоренения идеи Единобожия, то как могла быть впервые воспринята сама эта идея? Может быть, и эта идея, и ее последующее развитие есть эманация определенных генотипических структур? Или, наоборот, все душевные струк-

туры, несовместимые с этой идеей, устранялись и исчезали из еврейского духовного обихода.

Чувство сквозного замысла, единого плана вызывает потребность этот план узнать, понять, представить. Так мы приходим к Познанию как Цели. В таком контексте познание есть Богослужебная деятельность.

"И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее".

Я подошел так близко к трансцендентному, что, пожалуй, скажу и об этом. В сущности, безразлично, говорить ли о проявлении воли Божьей или о законах природы. Важно, к чему это нас ведет. Скажем ли мы, что люди таковы, какие есть, по Божьей воле или в результате специфической эволюции, для познания последних, исходных причин несущественно. Многие важные детали этой эволюции так же останутся неизвестными нам, как извивы Божьей воли. Но для нашей жизни эти ориентации неравноценны.

В конечном итоге вопрос о научном познании есть вопрос о свободе воли. До тех пор, покуда продолжается действие естественнонаучных закономерностей и мы со своей предприимчивостью противостоим природе, есть поле для приложения нашей воли, и жизнь наша осмысленна. Но как только мы сталкиваемся в сознании с Непознаваемым, с Абсолютом, мы лишаемся своей активности и превращаемся в иждивенцев Провидения. Это вопрос не веры, а — практической ориентации. Бог помогает только тому, кто помогает себе сам. Привлекать Бога для объяснения наблюдаемых явлений — значит, нарушить третью заповедь, употребляя имя Божие всуе. Человек должен освободить все, что поддается этому, от оттенка трансцендентности. Когда все познаваемое будет познано, а сложное сведется к простому, Непознавае-

мость целого выступит в своем истинном величии, и только обнаженная Конструкция Мира достойна абсолютов. Бог, вмешивающийся в квартирные склоки и выводящий на дорогу в лесу, есть часть нашего внутреннего обихода и как таковой столь же мало может претендовать на роль Первопричины, как и мы сами.

Чтобы это рассуждение не свелось к одним словам, разберем одну заинтересовавшую меня мысль Н. Бердяева. "Для религиозной историософии раскрывается, что смысл революции есть внутренний апокалипсис истории. Апокалипсис не есть только откровение о конце мира, о страшном суде. Апокалипсис есть также откровение о всегдашней близости конца внутри самой истории, внутри исторического еще времени, о суде над историей внутри самой истории, обличение неудачи истории. В нашем греховном, злом мире оказывается невозможным непрерывное поступательное развитие. В нем всегда накопляется много зла, много ядов, в нем всегда происходят процессы разложения (т. е. помимо процессов синтетических *(вставка моя. — А. В.)*... И тогда неизбежен суд над обществом, тогда на небесах постановляется неизбежность революции, тогда наступает разрыв времени, наступает прорывность, происходит вторжение сил, которые для истории представляются иррациональными и которые, если смотреть сверху, а не снизу, означают суд Смысла над бессмыслицей... Революция есть малый апокалипсис истории, как и суд внутри истории. Революция подобна смерти, она есть прохождение через смерть, которая есть неизбежное следствие греха... Совершенно бесплодны рационалистические суждения о революции, так же, как и о войне, которая во многом походит на революцию. Революция иррациональна, она свидетельствует о господстве иррациональных сил в истории. Деятели революции сознательно могут исповедовать самые

рационалистические теории и во имя их делать революцию, но революция всегда является симптомом нарастания иррациональных сил. И это нужно понимать в двойном смысле: это значит, что старый режим стал совершенно иррациональным и не оправдан более никаким смыслом и что сама революция осуществляется через расковывание иррациональной народной стихии".

Глубокое понимание сущности феномена особенно ярко подчеркивает здесь ту неоднозначность терминологии и безответственность, которая характерна для гуманитарного мышления и результатом которой явились громадные и невосполнимые потери в понимании мыслителей прошлого. Так как интеллектуальная атмосфера еще не успела познаваемо измениться, мы можем вполне понять Н. Бердяева, но детальное понимание таких мыслителей, как Гераклит или авторы Упанишад, закрыто для нас, быть может, навсегда. Это касается и собственно Апокалипсиса. Но в отношении Бердяева у меня нет сомнений. Он гениально, настолько, насколько это вообще возможно без специального языка, выразил ту мысль, что революция есть фазовый переход в физической системе, которую представляет собой человеческое общество, и очень убедительно и живописно охарактеризовал критические явления, которые при этом происходят.

В первой части отрывка он говорит, что неустойчивость общества ощущается им как возможность конца и что предел устойчивости определяется не значением энергии, а соотношением ее с энтропией (злом), как и во всех физических системах. Выражение "греховный, злой мир" означает, что мир несовершенен, то есть его энтропия не равна нулю. Я уже имел случай сказать, что совершенным мир мог бы стать лишь при абсолютном нуле, и здесь могу добавить, что недостижимость этого

состояния не снижает его привлекательности для человеческого сознания (Бердяев, принципиальный сторонник статистического подхода, в отличие от своих противников, хочет, чтобы индивидуальности подходили к единству от свободы, а не принуждения. То есть он хочет спонтанного происхождения упорядоченности, а не в результате воздействия внешнего поля). Далее говорится, что наступает разрыв во всех функциях, характеризующих систему. Это математическая формулировка фазового перехода, и, кстати замечу, что, изучая, какие социологические функции терпят разрыв, а какие остаются непрерывными, можно определить, по каким, собственно, параметрам происходит переход. Наконец, утверждение об иррациональном в революции совершенно точно характеризует тот факт, что критические явления определяются флуктуациями. Флуктуа́ция как понятие есть осуществление иррационального в природе. Сравнения революции со смертью и войной настолько правомерны, насколько смерть и война являются фазовыми переходами. Оба эти перехода есть типичные переходы первого рода, так что в войне может даже и не быть разницы в симметрии фаз (пардон, в идеологии сторон). Это приводит к тому, что роль флуктуаций (т. е. иррационального элемента) здесь гораздо меньше. Но слово "иррационально" употребляется Бердяевым еще в двух смыслах. Иррациональная народная стихия, иррациональные силы в истории — это коллективные (прошу не путать этот физический термин с колхозом) эффекты, определяющие социальные явления и незаметные вдали от перехода из-за влияния самосогласованного молекулярного поля. Как всякие кооперативные эффекты, они непосредственно не следуют из свойства частиц (людей), а определяются статистикой. Так как никакой видимой связи с желаниями и характерами людей эти силы и тенденции не имеют,

они представляются иррациональными. Когда же Бердяев называет иррациональным старый режим, он имеет в виду его энергетическую невыгодность и, следовательно, термодинамическую рационалистическую неактуальность, проявляющуюся в неустойчивости. Физический смысл всех этих рассуждений сводится к тому, что революция — обязательный переход с изменением симметрии, поэтому, даже если он оказывается переходом первого рода, критические явления при нем играют первостепенную роль.

Таким образом, мысли Бердяева могут быть переведены на однозначный язык (правда, при этом пришлось распрощаться с читателем-гуманитарием, но я сделал это не для уточнения этой мысли, а для демонстрации самой возможности перевода) и не содержат специфически трансцендентного элемента, который воспринимался бы физиком как беспрецедентный и, следовательно, непознаваемый. Сплошь и рядом то же сказывается при прочтении многих пророческих книг и анализе мистики чисел.

Я надеюсь, что уже достаточно выявился, чтобы читатель понял, что такой подход не умаляет достоинств древнего и современного автора. Напротив, глубокое благоговение вызывает интуитивный процесс (можем назвать его откровением), дающий знание в такой отчетливой и опережающей современников форме. Но мы ничего не знаем и не можем знать об источнике этого знания. Даже веруя, что этот источник Божественного происхождения, мы ни на миг не приближаемся к нему.

Другое дело, когда от мистического знания мы приближаемся к рациональному. Мы, безусловно, теряем в эмоциональной наполненности этого знания. Но мы приобретаем возможность правильно передать его и использовать. Физическая интерпретация мысли Бердяева

ничего не добавляет к самому описанию революции и к постижению ее истоков с начала времен. Но, будучи сформулировано на физическом языке, утверждение, что революция есть момент потери устойчивости социальной системы по отношению к внешнему, внутреннему, экономическому или психологическому фактору, ведет к изучению и своевременному устранению этого опасного фактора или самой неустойчивости.

Если перед концом мира, судом над историей и т. п. мы можем только молиться, при наступлении фазового перехода, смене погоды и пр. можно предложить варианты поведения, более достойные бессмертной души. Отчасти и древние это понимали. Когда пророк Иона стал ходить по городу и говорить: "Еще сорок дней,— и Ниневия будет разрушена!.." "И поверили ниневитяне Богу: и объявили пост, и оделись во вретища..." Царь Ниневии, как лицо более ответственное, счел это еще недостаточным и кроме упомянутого повелел провозгласить, "чтоб каждый отвратился от злого пути своего и от насилия рук своих". Таким образом, он четко сформулировал, чего не следует делать, а для ассирийцев, которые жили насилием и грабежом, этот призыв не был само собой разумеющимся. "И увидел Бог дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел". Вот это представление о действительности некоторых мер и частичной постижимости Божьей воли придает Библии очень реалистический, лишенный мистицизма характер.

Я вообще думаю, что мы обычно недооцениваем степень искушенности и осведомленности древних, идя на поводу у буквального перевода их текстов. Может быть, интимность их знания о природе во многих случаях была не ниже нашей, но метод у них был другим.

Так как запись, дошедшая до нас, вырвана из контекста (например, наполненность понятий-образов, употребляемых в Упанишадах, явно не исчерпывается философскими дефинициями, даваемыми современными специалистами) и означает лишь символический конспект или, возможно, мнемоническую формулу знания, ничего сказать о самом знании мы не можем. Природа художественных методов такова, что полную информацию они дают только воспитанному и искушенному потребителю. Несведущий получает лишь самое поверхностное впечатление, исчерпывающее незначительную часть информации. Поэтому так необходимо было в древности лично общаться с учителем. Да ведь и сейчас...

Современная наука преуспела не в знании, а в рациональной записи и передаче этого знания. Привыкнув к этому, мы часто знанием чего-то называем, собственно, алгоритм соответствующего явления, забывая, что знание может быть чувством. В сущности, наша цивилизация — это та, которая изобрела объективные методы записи и передачи — логику, математику и пр. Она разделила объективные знания и интуитивные, науку и искусство, философию и религию. Это дало возможность приложений и гигантского технического развития, но не увеличило, или очень мало увеличило, наши духовные возможности.

Если, например, оценивать уровень знания по достоверности предсказаний, то, не говоря уж о пророках, старики по ломоте в костях лучше предсказывают погоду, чем бюро прогнозов, и, следовательно, имеют уровень более высокий. Однако научить этому молодых они не могут, и их знание остается их личным достижением (или потерей — "во многом познании есть много печали"). Бюро же прогнозов, сплошь и рядом попадая пальцем в небо, с каждым годом усовершенствуется

и дает реальные выгоды морякам, летчикам и садоводам. Но может быть, такая деятельность к познанию отношения не имеет? А что такое познание?

Университет, вопреки ожиданию, ничего нового в теоретическом плане не дал мне. По сравнению с тем новым миром, который открывала наука новичку, отличие хорошего преподавания от плохого показалось мне незначительным.

Но в университете я впервые столкнулся с физической лабораторией как инструментом для задавания природе непосредственных вопросов. Оказывается, чтобы узнать что-то, не обязательно (а иногда и не поможет) искать в книгах, спрашивать у знатоков, наблюдать в жизни. Можно пойти в свою лабораторию, сконструировать своего маленького Мефистофеля и узнать то, чего никто не знает, отчего разинут рот знатоки, что никогда не попадало в книги. Правда, этот Мефистофель не любит вопроса "почему", но он всегда честно отвечает на вопрос "как". К тому времени я уже понимал, что вопрос "почему" содержит определенное представление об ответе или хотя бы о форме ответа, и поэтому является некорректным.

Человек, который сам может убедиться в существовании атомов, который сам решает, какую природу и в каких условиях ему наблюдать, отличается от книжника так же, как путешественник отличается от учителя географии, как футболист от болельщика. Экспериментатор, как охотник, живет на природе. В его жизни телесная и организационная деятельность оказывается духов-

ной (или, по крайней мере, умственной), как у полководцев, строителей и капитанов.

Я снова был захвачен целиком и сидел в лаборатории настолько невылазно, что преподаватели теперь радостно и удивленно улыбались, увидев меня на лекции. Награда не заставила себя ждать.

На курсе специально было собрано собрание, чтобы осудить меня за пренебрежение лекциями по марксизму. В те времена такое собрание могло кончиться моим изгнанием из университета. Но мне опять повезло. Обвинение в пренебрежении было снято после демонстрации груды конспектов классиков марксизма, сделанных мною в период моей антисоветской деятельности в целях ревизии. Некрасивые девицы, составляющие идейное ядро движения, которое мы теперь назвали бы "культурной революцией", были потрясены моей марксистской эрудицией (были даже конспекты произведений, не вошедших в программу) и обезоружены открытой улыбкой соблазнителя, которую я усвоил вместе со способностью к мистификации. Так как основная моя жизнь протекала теперь очень далеко от этих вопросов, обман давался мне легко, как всем советским людям. Резолюция собрания гласила: "Не пропускать лекций по марксизму без необходимости!" После этого я уже пропускал напропалую, так как необходимость была постоянно.

Все как-то уже давно привыкли, что познающая деятельность является теоретической. Познание связывается в уме с необходимостью сесть за книги, много и долго размышлять, ограничить свою природную живость и отказаться от земных свершений. Однако это представление — результат совсем недавнего и интеллектуального, и социологического опыта и вовсе не соответствует природе вещей и жизненной реальности.

Познания — это тяжелая и рискованная практическая деятельность, которая зачастую достигает остроты приключения и лишь в исключительных случаях протекает в таких анекдотически спокойных формах, как жизнь Канта. Хитроумный Одиссей — идеал познающего субъекта. Кровь и пот, заливающие глаза, — спутники этого процесса. Жеребячий восторг, изматывающее ожидание и животный страх — сопутствующие чувства.

Глядя на лица своих друзей, мирных физиков, философов, интеллектуалов, видя эти волевые подбородки, хищные носы, великолепные зубы, я частенько подумываю, что в нашей среде можно было бы снять фильм из жизни пиратов или рыцарей Круглого Стола. Что заставляет этих полнокровных людей проводить полжизни в размышлениях над исписанными бумажками? Гете сделал Фауста стариком, но фаустовские страсти снедают людей смолоду. Один крупный физик сказал как-то о правительстве: "Как это "они" не догадаются перестать платить нам за работу? Ведь мы на жизнь как-нибудь раздобудем, а работать все равно будем по-прежнему".

Я не берусь живописать всю гамму чувств, охватывающих человека при творческой работе, а сравнить мне их не с чем. Наверное, это похоже на "упоение в бою и бездны мрачной на краю". Если человек хоть раз испытывал такую полноту чувств, он всю жизнь будет стремиться к повторению этого состояния. Обычное течение жизни такого напряжения, такого мощного душевного подъема, такого полного удовлетворения не дает. Есть бывшие фронтовики, которые тайно жаждут войны, и революционеры, ищущие опасности. Бывают женщины, жаждущие садиста, и игроки, проигрывающие состояния.

Но я сейчас говорю о захлебе любопытства, о празднике исследователя. Польза, которую извлекал из своих скитаний Одиссей, несмотря на выдающееся корыстолюбие, была неизменно равна нулю, и столь же неизменна была его готовность к новым путешествиям.

Не может быть, чтобы такое властное стремление происходило от одних только размышлений, от социологических или культурных причин. В основе его должна лежать какая-то биологическая реальность. Есть биологи (Н. Войтонис "Предыстория интеллекта", АН, 1949), которые выделяют у обезьян ориентировочно-исследовательский инстинкт, заставляющий их разглядывать камешки или размахивать палкой, независимо от возможного пищевого или военного значения этих действий. Во всяком случае, мне кажется необходимым производить стремление к познанию от каких-то коренных свойств человека.

Ключ к этой проблеме дает язык Библии: "Адам познал Еву, жену свою; и она зачала..." Познание есть овладение и, может быть, даже оплодотворение природы. Говорят, что на абхазском языке то же действие звучит как "поймал". Таким образом, сюда, возможно, входит также и элемент преследования и торжества. Правда, на русском языке соответствующее слово носит унижающий характер и в переносном смысле означает неприятность и обман, но это, по-видимому, как раз пример того, как "всякая плоть извратила путь свой на земле".

Овладеть — не всегда значит познать, но познать — это всегда значит овладеть, идейно присвоить, усвоить, сделать своим. Животному свойственна активность по отношению к окружению, оно стремится овладеть самкой, территорией, пищей. Человек — тоже.

Животное в этом своем стремлении наталкивается на аналогичную активность соседа, овладевающего тем же у него под носом. Человек — тоже.

Животное приходит в дикую ярость. Человек — тоже.

От бессильной ярости животное впадает в стрессовое состояние, являющееся причиной его преждевременной гибели и средством от перенаселения. Бывает, что и человек тоже. Но не всегда.

Человек отличается от животного тем, что у него есть душа. Когда я говорю это, я не имею в виду бессмертную Душу, о которой, как и о других абсолютах, я ничего не знаю. Я имею в виду эмпирический факт наличия внутренней душевной жизни, которая может происходить и от естественных причин, связанных с эволюцией. Впрочем, и происходя от эволюционного усложнения психики, душевная жизнь не перестает быть чудом, и ее происхождение не становится менее Божественным. Как бы там ни было, но для человека существование души, воображения памяти, в частности, означает, что часть своей активности он переносит в сферу невидимого. Стесненный материально, лишившись куска хлеба и пристанища, ставший рогоносцем и всеми осмеянный, человек может оказаться победителем в области духа. Лишившись своей территории, он может овладеть в воображении всем миром.

Если темпераментнейший из наших предков мог отобрать жен у соперников, убить двух из них и съесть неполностью одного, установив частичное господство над территорией в полтора гектара, то Иоанн Богослов один в своих видениях может освободить от оков сотни тысяч праведников, убить миллионы негодяев, абсолютно восторжествовать над всем бескрайним миром, установив в нем справедливость по своему пониманию.

Эти грандиозные возможности совершенно изменили всю жизнь человека, так что его животная природа даже отступает на второй план перед жизнью духа. Будучи реалистом, т. е. живя лишь насущным, он ставил себе только выполнимые задачи (поймать, убить, съесть), но, сделавшись трансцендентником, поставив невидимое наравне или даже выше видимого, человек посягнул и на невозможное, т.е. на изменение своей и окружающей природы. Может быть, краткость человеческой жизни, отмечаемая специалистами, в сравнении с животными, связана с громадной затратой физиологических сил на душевную жизнь и перевод предстрессовых ситуаций в социально допустимые.

Как-то, молча сидя за обедом с отцом, пришедшим с завода, и около получаса наблюдая за движением его бровей, я безошибочно установил, о чем и с кем из своих начальников он мысленно разговаривает. И дома за обедом та, вторая, заводская реальность не отпускала его.

Мы проживаем две жизни. Может быть, современное перенаселение происходит оттого, что воображение позволяет жить даже и обиженному, и обездоленному. "Кто стал бы сносить?" — вопрошал Гамлет, но мы сносим благодаря тому, что все больше уходим во внутреннюю жизнь, и, так как эта жизнь потусторонняя по отношению к реальности, мы, таким образом, на второй гамлетовский вопрос даем сразу два ответа: "Быть!" и "Не быть!" Может быть, история распятия и воскресения Христа есть наиболее совершенное выражение такого перенесения? Его телесное поражение превратилось в духовную победу, в условие перехода из реального бытия в небытие, позволяющее небытие отвергнуть. Это небытие по отношению к бытию небезразлично. Оно претендует на то, чтобы бытие заместить как неис-

тинное. Истина — это бытие нашего духа, внешнюю природу преодолевшее. Таким образом, то, что в душе происходит с природой, — это познание, то есть овладение ею в соответствии с нашей духовной потребностью, превращение ее в наше переживание. Итак, будучи ограничен в реальности, человек переносит свою активность в идеальную сферу и овладевает ситуацией мысленно, "познает истину". Какое отношение имеет все это к науке?

*

"В отличие от науки, берущей природу в разрезе светового столба, искусство интересуется жизнью при прохождении луча силового. В рамках самосознания сила называется чувством...

Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещения".

Б. Пастернак. "Охранная грамота".

Однажды я обратил внимание на то, что мой годовалый сын как-то оригинально садится на горшок. Он внимательно в упор смотрел на него и одновременно присаживался. Конечно, его постигала неудача, так как горшок оставался у него перед глазами. Тогда он небрежно поворачивался и легко садился на него. Этот результат, однако, не удовлетворял его, так как он вставал и с новыми силами начинал целиться по-прежнему. Чем более он не выпускал горшок из виду, тем вернее промахивался. Попадал он, лишь случайно отвернувшись и утратив сознательный контроль над событиями. Таким

образом, никакое, даже очень тщательное прицеливание и контролируемое сознанием стремление не вело к цели. Между тем интуитивное, приблизительное присаживание приводило к результату, который, впрочем, не удавалось осознать. Момент овладения оставался тайной.

Здесь на моих глазах совершался Выбор, складывался тип личности. Кажется, чего тебе? Попал на горшок — слава Богу! Наслаждайся! —Нет, ему было недостаточно овладеть предметом. Необходимо было закрепить эту победу, овладев также путем, который с неизбежностью бы к этой победе приводил. Но оказывалось, что, будучи объективизирован, этот путь не ведет к цели. Во всяком случае, если и ведет, то не прямо. А ведь соблазн велик! Зайти в лабиринт, не выпуская из рук нити разума, и невредимым вернуться обратно! Услышать наяву пение сирен и остаться в живых! Какая дополнительность звучит в этих мифах?

Через несколько лет сын задал мне вопрос, который показал, что эта проблема до сих пор присутствует в его жизни. Он подробно расспрашивал про индийских йогов и, окончательно убедившись, что физиологические возможности их неограничены, спросил: "А почему им тогда не стать чемпионами по боксу?" Действительно, почему? Я ответил, что йоги не интересуются боксом. "А если это нужно для..?" Дальше он перечислил все доступные его сознанию ценности,а я последовательно объяснял суетность подобных стремлений в глазах йогов. Он так и остался неудовлетворен. Тем более что, кажется, йоги достаточно суетны, чтобы собираться на какие-то свои соревнования. Однако нет ли тут следов того же противопоставления.

Со временем и я, и он узнали принцип дополнительности в его квантовомеханической формулировке, но еще раньше я обратил внимание на такую дополнительность

в своей экспериментальной работе. Стремясь измерить что-либо поточнее, я всегда наталкивался на предел, который возникал оттого, что измерительный прибор сам воздействовал на изучаемое явление. Так, измеряя штанген-циркулем диаметр тонкой трубки, мы будем тем сильнее деформировать трубку, чем точнее нам захочется ее измерить и, следовательно, прижать к ней циркуль. Разумеется, можно придумать конструкцию, которая эту деформацию резко снизит, но саму проблему не может снизить никакая конструкторская деятельность, ибо она лежит в основе познания. Либо мы вступаем в тесное взаимодействие с предметом и необратимо деформируем его, либо его почти не касаемся, но получаем о нем лишь самые поверхностные сведения. Чтобы узнать что-либо существенное о человеке, нужно взволновать его, но и тогда мы узнаем, быть может,не то, что есть на самом деле. Но, наблюдая за ним, будучи незамеченным, немного узнаешь, хотя во всем мире разведка и тайные полиции полагают иначе.

Есть один способ узнать многое, не исказив реальности. Для этого человек должен сам превратиться в измеряющий прибор: и, если он не искажает окружающий мир, но познает его, это значит, что, измеряя, он деформируется сам. Такой самоотверженный способ познания мира называется искусством. Художник познает мир в возбужденном состоянии, в результате чего это уже не мир как он есть, а мир, видимый пристрастным взглядом. Художник (и вслед за ним зритель) овладевает миром, но для этого он должен быть в возбужденном состоянии и лишиться части своих аналитических склонностей. Путь к овладению остается индивидуальным. Искусство позволяет нам познавать — присваивать — без осознания. Познать в искусстве — значит,

овладеть в состоянии возбуждения,потеряв значительную долю контроля над собой, т. е. частично изменившись.

Напротив, осознать — значит мысленно овладеть со стороны, сохранить себя невозмущенным. Наука, позволяющая в какой-то мере такой процесс, прочно закрепляет достигнутые знания, но никогда не доходит до конца. Поэтому наука закономерно сосредоточивается на методе, а не на результате. В искусстве, наоборот, метод вторичен и определяется настроением воспринимающих и их предшествующим опытом. Наука в смысле знания немного дает, но это немногое столетиями накапливается, и уверенная последовательность этого непрерывного приобретения, может быть, и является источником представлений о прогрессе как однозначной функции времени. Монотонность, однонаправленность этого процесса жестко связаны с теми требованиями, которые предъявляются научному методу и, конечно, разрушатся (и фактически разрушаются всякий раз), как только на этот метод наложатся особенности, происходящие от индивидуальной страсти. Это происходит всегда, когда содержательный момент в науке перевешивает методический. Однако только так, по методу Наполеона, она и развивается (Наполеон сказал: "Я завоюю, а юристы как-нибудь потом объяснят это"). Научное достижение сплошь и рядом только в последующих поколениях лишается оттенка сомнительности благодаря обоснованиям, которые не присутствовали в сознании самих творцов. Таким образом, наука движется вперед благодаря интуитическому процессу, который неотличим от искусства. Специфические черты, характерные для науки, она приобретает в процессе обоснования, т. е. именно в области метода.

В искусстве благодаря примату содержания и отсутствию соглашения о методе все время происходят разно-

направленные и циклические движения, заставляющие ставить под вопрос само существование времени или, по крайней мере, прогресса для человеческой природы, как она выявляется в искусстве. Так как предмет все время один и тот же, метод выбирается произволом художника и неизбежно подвержен моде, настроениям, событиям. Возможности человека ограничены, и повторения неизбежны. Определить в таком случае направление движения так же невозможно, как определить в общем, улучшается ли человеческая жизнь или нет. Без уточнения понятий ставить такой вопрос бессмысленно.

Окончательно эта проблема свелась к проблеме измерений. Измерение с предельно слабым контактом получает нулевую информацию. Измерение с энергией контакта, сравнимой по величине с энергией измеряемой системы, видоизменяет систему и приносит информацию о чем-то совершенно ином. Два этих предельных случая воплотились в человеческой деятельности в разных сферах. Ни наука, ни искусство не располагаются на крайних полюсах этого диполя. В криминалистике известно два типа свидетелей, из которых один описывает события, а другой — свои чувства. То, что для криминалистики один из типов предпочтительнее, показывает направление развития нашей цивилизации. Роль рационального элемента в ней все время возрастает, и это можно понять как победу Сальери над Моцартом. Для Моцарта есть лишь один путь к спасению — овладеть алгеброй гармонии и превзойти Сальери и в этом. Перечитывая "Моцарта и Сальери", я обнаружил, что убийство Моцарта остается немотивированным, несмотря на пространные монологи Сальери. В этих монологах любви и восхищения больше, чем зависти, и Сальери в трагедии никак не складывается в злодея-завистника. Не верится, что Пушкин не смог сделать мотивировку убийства убедительнее.

Скорее, чувствуя глубину, духовность этого конфликта, он не захотел замутить его настоящей страстью.

Ведь убийство — дело животное, физиологическое и как таковое может явиться только результатом животной же, интимной страсти. Убить из идейных соображений так же немыслимо, как любить. Как можно из идейных соображений лечь в постель с женщиной и во имя программы копаться в ее внутренностях? Еще меньше возможностей выпускать кишки из человека на рациональном основании. Есть, конечно, "йоги", способные и на то, и на другое, но это патологические субъекты. Большинство людей в этом вопросе себя обманывает. Один шалопай как-то признался мне, что ухаживает за моей знакомой, типичной монголкой, с чисто познавательной целью. Ему, видите ли, интересно, как ведет себя этот расовый тип в интимной ситуации. Я спросил, не боится ли он, что, когда дойдет до дела, идейной мотивировки окажется недостаточно, и он ничего не узнает по техническим причинам. "Нет, — сказал он, — я тогда закрою глаза, представлю себе что-нибудь знакомое, и все произойдет А потом я опять их открою и буду наблюдать". Приблизительно то же самое придумывают для себя всякие раскольники, когда им нужно убивать по программе, но именно ужас, с которым они потом каются, показывает несерьезность мотива. Тут нужно, чтобы припекло, чтобы существо трепетало от злобы, чтобы муки жертвы вызывали восторг, упоение. А у Пушкина что?

...И больно,и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член...

Это тихое умиротворение показывает, что Пушкин понимал, насколько убийство, совершенное Сальери, нереально. Такое чувство остается, когда отказываешься от чего-то дорогого в прошлом. Когда расстаешься с любовью. Когда прощаешься с молодостью. Когда выбираешь из двух дорог одну. Это чувство описал Ч. Дарвин, жалуясь в "Автобиографии" на потерю эстетических потребностей.

Моцарт — это часть души, которую Сальери в себе убил. Это возможности, которыми он не воспользовался, это путь, от которого он отказался.

Это противостояние в каждой душе, особенно в душе художника, характерно для культуры в целом. С возрастом Сальери в человеке одолевает Моцарта, и возраст народа, быть может, приводит к тому же. Среди евреев тип Сальери очень распространен, даже среди талантливых людей, и это дает им дополнительные преимущества. Чтобы Моцарт что-нибудь создал, необходимо счастливое стечение обстоятельств или очень большая степень одаренности. Сальери не нужны никакие условия. Он преодолеет все, и даже собственную ограниченную природу. Сальери имеет преимущество в осуществлении и ближе к демократическому идеалу ("всего достиг я собственным трудом"), однако Моцарт часто выше одарен и поэтому аристократичен. В живой культуре они не могут существовать друг без друга, как ум без воображения.

Трудно преодолеть искушение и не определить крайние точки оси взаимодействия человека с природой. По-видимому, очень близка к нулю энергия контакта с объектом при математическом творчестве. Математика поэтому совсем не наука (может быть, она больше, чем наука), и ее информация относится не столько к миру, сколько

к нам самим. Таким образом, математика — это самопознание. Может быть, даже — запись совершающейся эволюции.

Близко к противоположной крайней точке на оси познания стоит религия как знание, полученное эстетическим путем и, следовательно, сугубо индивидуальное. То общее, что находят в религиях, получается за счет смещения по оси в сторону объективного и таким образом приближается к философии и науке. Религия же по духу ближе к искусству. Если постоянно сохранять самоконтроль, никакой веры возникнуть не может. Но как только уверуешь, исказишь Бога до неузнаваемости. Ибо это уже не Бог будет, но твоя душевная потребность.

В религии такое явление зафиксировано под названием антропоморфизма, и, если осторожно очищать религию от антропоморфных моментов, она так быстро станет приближаться по духу к науке, что вскоре станет неотличима от безбожия. Но проблему можно повернуть и в обратную сторону, заметив, что наука есть религиозное служение почти в чистом виде, без мифологии. Ибо наука есть религиозная вера в объективность феноменов, в единственность абсолютов, во всеобщее значение знания.

Разумеется, традиционная религия, как и искусство, дает познание в более близкой к материальной, чувственной форме, чем философия и наука. Но и в религии имеются свои градации от шаманства, дающего верующему непосредственное удовлетворение от общения с потусторонним миром, до буддизма как крайней степени агностицизма в религии, делающей его неотличимым от философии.

Монотеизм представляет собой настолько важный этап на пути к обесчувствлению, абстрагированию Бога и увеличению автономности человека, что шаг назад на этом

пути, который сделало христианство, казался евреям невозместимой потерей. Наверное, борьба Иакова с Богом, которой Израиль обязан своим названием, означает преодоление Бога как идола и познание его всемогущества как сверхчувственной и сверхрациональной реальности. Бог становится все более непознаваемым по мере развития человека. Авраам регулярно обсуждал с Богом семейные дела, а Моисей уже обращается к Богу только по очень важным поводам, касающимся всего избранного народа. Гилель через 10-12 веков, изъясняя формулу своей религии, не упоминает Бога вовсе.

Постепенное сползание религии в сторону абстрактного приводит к подмене традиционно религиозных моментов эстетическими. Искусство сейчас взяло на себя даже такую производную от религии вещь, как нравственность. Понятия "совесть", "преступление", "милосердие" утратили всякий религиозный смысл и целиком связаны в представлениях наших современников с литературой.

В детстве я не мог понять, что такое "свобода совести", так как слышал только о той совести, у которой бывают угрызения и которую я знал по сказкам. Поэтому свобода от такой совести не казалась мне благом и даже пугала. Прежнее "грешно" — теперь "некрасиво". Это слово — единственное основание для того, чтобы не воровать, не лгать, не сквернословить, на котором строилось мое воспитание и воспитание сына. Джон Браун — этот Че Гевара XIX века — пошел убивать по религиозным соображениям, как и его предки "железноголовые" пуритане. Современные революционеры обходятся даже без искусства. Им достаточно даже полуфилософских, полумифотворческих цитат Мао.

Это замещение возможно потому, что сущность веры состоит в возможности возвести до уровня непосредст-

венного чувства потребность жить потусторонними (по отношению к собственной личности) интересами. Но такую же задачу ставит себе и искусство, даже если эстетическая потусторонность оказывается не слишком далекой. Главной трудностью на пути культуры является не расположение идеала, а смещение центров тяжести интересов собственного тела. В элементарной форме (это отмечено как начальная точка культуры в древнешумерском эпосе) такое смещение доступно каждому в форме половой любви. Потому обе отрасли (и искусство, и религия) так сильно эту любовь эксплуатируют. Очень немногие способны испытывать реальные чувства по отношению к надреальным объектам без помощи эстетических и антропоморфических прикрас, но именно на этих воинах Гидеона держится наука.

Современное искусство все чаще обращается к интеллекту и непрерывно смещается по этой шкале в сторону абстрактного. Но, интересно при этом, что наука движется в противоположном направлении, навстречу искусству. Квантовая механика, в принципе, включила влияние прибора на наблюдаемое явление и сумела удержаться на уровне требований, предъявляемых науке. Таким образом, принципиальное различие между наукой и искусством преодолено, правда, при этом пришлось пожертвовать вещами, которые по традиции считались неотъемлемыми признаками науки: оперированием сущностями. Хотя традиционно принято считать, что квантовая механика открыла какие-то новые свойства микромира и т. п., на самом деле произошло нечто противоположное. Необоснованные детерминистские фантазии оказались несостоятельными в микромире, как и следовало ожидать, и квантовая механика этот отрицательный факт зафиксировала. В этом смысле она есть не откры-

тие, а потеря. Закрытие возможностей, которые Лапласу казались реальными. Такими возможностями являются возможности "объективного" описания вещей в себе, познания феноменов, не зависящего от присутствия наблюдателя. В сущности, это конец науки в старом понимании этого слова. Эйнштейн правильно протестовал против квантовой механики. Это еще физика, но уже не наука. Она жертвует объективностью для всеобщности. Ее положительный вклад, ее всемирно-исторический урок состоит в том, что истинное описание вообще должно включать наблюдателя, что принцип искусства может быть формализован. Наличие квантовой механики есть философское обоснование возможности существования социологии и психологии как точных наук. Так как достигнуто это за счет потери обычного детерминизма и принципиального ограничения точности, слово "точные науки" должно теперь пониматься иначе, чем прежде. Под точной наукой теперь следует понимать описание, формализованное таким образом, что понимание его однозначно, а не описание, однозначно предсказывающее события и ожидаемые свойства объектов. Квантовая механика научила нас жертвовать абсолютностью (фактически лишь иллюзией абсолютности) в пользу всеобщности (т. е. описания в однозначных терминах).

*

Россия, истина моя! Обманутая Палестина.
Так непохожие края одна связала паутина.
Столица Иерусалим. Господень храм, сожженный Титом,
И мы убогие стоим под небом, шапкой непокрыты.
Такой запомнится она под гусеницей полководца,
Не с журавлями у реки, не с журавлями у колодца
Ее зазубрят наизусть. И ей вовек не измениться,
Пока я слов своих страшусь, как выстрела беглец боится...

... Мы строили необычайный город,
Где улицы, как тундра, широки,
А жизнь тесна, как висельника ворот,—
Чуть потяни — и хрустнут позвонки...

Неизвестный поэт, погибший
в лагере у Белого моря.

1940-1944 гг.

Рассказывая случай из своей жизни, я делаю усилия, чтобы не растечься мыслью, не уклониться в сторону, чтобы исключить необязательную болтовню. Но боюсь, что в жизни подробности, якобы не имеющие отношения к делу (смысловой фон, так сказать), значат гораздо больше, чем нам кажется.

Когда я написал про умных корейцев и весовщика-патриота, я сознательно упростил историю, потому что остальное не было связано с идеей квалифицированного нацменьшинства. При этом сдержать себя мне было трудно. Я никак не мог позабыть подробностей, которые там были явно не по делу. Все время, пока писал до этой страницы, я думал, куда бы их вставить. И вот сейчас, не твердо зная, к чему бы это, но твердо зная, что нужно, я решил с опущенных подробностей начать.

Пока мы с весовщиком мирно беседовали и между делом выпивали, на склад вошла женщина и спросила, нет ли мяса. Весовщик, полуобернувшись к ней, добродушно бросил:"А хуй ты не хочешь?!" — и продолжал беседу со мной. Так как фраза эта не выделялась в общей струе его лексики, я не почувствовал ничего экстраординарного в эпизоде. Все было обычно, как всегда. Женщина куда-то исчезла, а разговор продолжался. Потом зашел пенсионер-землевладелец, которого весовщик встретил гостеприимным криком: "Коммунист! Пора тебя в тюрьму посадить!" — и тоже пригласил выпить. Пенсионер спросил луку (опять лук). "А что тебе без лука не плачется?" — радостно парировал мой герой и переключился на серьезную беседу с пенсионером. Я нагрузился своими арбузами и пошел к Волге.

В квартале от склада я остановился передохнуть и вдруг услышал громкие всхлипывания. За углом у стены стояла женщина, приходившая на склад за мясом. Заплаканное ее лицо полыхало, глаза не видели. Спазмы пробегали по ее довольно худощавому телу, плечи тряслись, руки судорожно сжимались. Она давилась какими-то бессмысленными протестующими восклицаниями, обращенными к весовщику, неизвестно к кому, ко всему миру. Я постоял, не зная, чем ей помочь, потом, поняв, что помочь нечем, собрал свои арбузы и поплелся дальше. Неужто этот случай ничего не значит? Отчего она плакала? Оттого ли, что мяса нет? Или оттого, что ее на ... послали? Или оттого, что весовщику не до нее? А может, у нее своего мужика нет? Может, оскорбительность предложения весовщика в его несерьезности? А может, оттого она плакала, что беззащитна и каждый может ее послать?..

"Помни Россию!" Если я когда-нибудь уеду отсюда, все остальное: и весовщик-острослов с даровыми арбузами и выпивкой, и хозяйственный пенсионер-коммунист с серьезным разговором, и хитрожелтые корейцы с луком и рисом — станет для меня фоном к этой женщине и ее горю. Но сейчас эта женщина — фон к моим наблюдениям, и чувствую, что без него мои наблюдения неполны, в чем-то ущербны.

Мог ли я помочь ей?

Наверное, мог бы. Бросив ради нее все, чем жил, посвятив ей все свои силы, забыв свое прошлое, как и все, впрочем, что ей непонятно...

Да ведь это уже было... и не удалось. Да она и не примет моей жертвы.

И я ведь не перестану быть собой, а на берегу меня ждут товарищи.

История эта здесь уместна потому, что по моему биографическому сюжету я подошел к окончанию университета и назначению на работу в провинцию. Хотя провинция находилась всего в 500 км от Москвы, представившаяся мне там российская жизнь была так ужасна (я раньше жил на Кавказе, Украине, в Сибири, где кошмар этот был отчасти смягчен), что не стану даже начинать рассказа, чтобы не увязнуть. Рассказ о русских бедствиях затягивает, как болото, и не дает вздохнуть. Слезы сочувствия не приносят облегчения и мешают анализу.

Резюме, которое я хотел из рассказанного извлечь, сводится к тому, что одно и то же явление может быть и событием, и фоном, в зависимости от положения воспринимающего. Но особенно произвольно соподчинение главного и второстепенного в картине, представляющейся глазу ребенка или дикаря. Мой сын ежедневно гулял с воспитательницей по имени Елизавета Соломо-

новна. Желая однажды завязать знакомство с новым мальчиком, он обратился к нему со следующим вопросом: "Вашу Лизавету как зовут? Нашу зовут Соломоновна". Таким образом, он по-своему интерпретировал соподчинение членов этой формулы и ее отношение к действительности. А ведь мы, разговаривая с ним, думали, что картина мира у нас одна, и понимали его слова, исходя из этого. Такого же характера непонимание возникает часто между культурной элитой и дикарем.

Задавая себе этот вопрос, почему так страшно безбожно выглядит реформация христианства в России, я думаю: "А что есть российское христианство? Христиане ли русские?"

Когда интеллигентный человек думает о православии, о христианстве, он что считает самым главным? Христа, конечно; тут и коренится главная ошибка. Она происходит оттого, что интеллигент Библию читает. Он не может забыть смыслового и исторического происхождения церковных форм, их правильного значения, окружающего их интернационального, культурного контекста. Значение и отторгает его от народной стихии, которой это значение, этот контекст никогда не были известны. Не знаю, может ли быть христианским неграмотный народ вообще, но ясно, что он создаст себе совершенно особое христианство, от исторического и официального православия далекое. Многие, например, деревенские бабы считают самым страшным, "непрощенным" грехом — воскресную стирку. Как наше православие зовут? Не язычество ли?.. Ведь русская вера не в Христе, а в Благолепии. Не в правду-истину, а в правду-справедливость.

Чудовищный и легкий отказ стомиллионного народа от Бога и религии наводит на мысль, что народ верил и наверное продолжал верить во что-то другое, чего, быть может, культурное православие не содержало.

Или, скорее, содержало, но этим и исчерпывалось. Заметим, от старой веры как будто труднее отказывались. Может и преувеличивают, но, говорят, насмерть стояли. А ведь в старой вере Христос тот же, что и в новой. За двуперстие шли на костер! А за Христа — нет! За мировую революцию, за царя и отечество — пожалуйста! А за Христа — нет! Значит, не в Бога верили, а в Чин,Порядок. Для порядка-то, пожалуй, двуперстие, действительно, важнее Христа будет. Христианство пришло к русскому народу почти одновременно с государственностью и, по-видимому, всегда составляло единственную альтернативу анархии.

Религией бедных, угнетенных христианство было только в Римской империи, да к тому же в ранний период ее истории. Когда Москва была провозглашена Третьим Римом, никому и в голову не приходило, что для христиан Рим был Вавилонской блудницей. Что величие Рима обратно пропорционально его значению для верующего. В Россию христианство сразу пришло как религия сильных.Первые русские монахи,святые и т.п.,все из княжеских родов, богатые, просвещенные люди, отнюдь не страждущие. Для Киевской Руси, для многочисленной обрусевшей мордвы, для татарских и еврейских выкрестов, в сумме составивших современный русский народ, крещение никогда не было результатом выбора, плодом раздумий. Напротив, оно было выгодной маской, путем к успеху, условием выживания.

Можно возразить, что до какой-то степени так же обстояло дело в Западной Европе, и даже религия Моисея отчасти утверждалась огнем и мечом. Ну, что же, это та часть, которая определяет сходство между ними, а нам сейчас интересны различия. Конечно, и в Европейской реформации, и в Иудейской войне и смуте можно

выделить эти светские элементы, определяющие сходство. Но давайте лучше сейчас определим, в чем своеобразие.

Достоевский несколько озадачил мир своей постановкой вопроса: "Если Бога нет, то тогда все дозволено!" Так вопрос никогда не стоял, и все были поражены оригинальностью точки зрения. Однако в этой формуле высказано нечто не о мире, а о себе. Это не формула устройства общества, а формула внутреннего устройства души, причем души, которая в России представлена богаче, чем где бы то ни было. Чтобы не возникло сомнения, что формула его имеет также и такое социологическое прочтение, Достоевский дает вариант: "Если Бога нет, то какой же я тогда штабс-капитан?" Это кощунственное с точки зрения евангельской идеологии (так и мытарь возгордится) заявление было бы страшным саморазоблачением, если бы в нем не содержалось также религиозной веры в сверхъестественное призвание штабс-капитанов. Чтобы быть более точным, нужно сказать о вере в высшее значение системы, в которой штабс-капитан необходимое звено, и в сверхъестественное происхождение силы, упорядочивающей мир и возводящей в штабс-капитанское достоинство. Вот эта сила и есть тот Бог, которому русский человек поклоняется.

Как зовут наше христианство? Наше христианство зовут кратофилией! И теократией тож! Москва — Третий Рим, а Четвертому не бывать! Надежда — царь. Не нами поставлено — не нам и менять. Кому положено, а кому не положено! Где надо, там разберутся. Поумнее тебя будут! Незаменимых у нас нет. Отсебятину порете! Было указание? Есть мнение! — Надо, Федя! Дан приказ ему на Запад. Православие, Самодержавие, Народность и примкнувший к ним Шепилов!

Вся эта мистика в значительной мере исчерпывается потусторонностью Царства Божиего, понимаемого как грандиозная и непоколебимая иерархия, указывающая каждому его место.

Здесь мне опять возразит интеллигентный оппонент, который знает, что во всяком христианстве Царство Божие не от мира сего. И еще, русская идеология запечатлена в таких мыслителях, как Соловьев, Федоров, Бердяев. Разве они не либералы? Либералы. Но разве и Маркс не либерал? Разве соборность Соловьева, "Общее дело" Федорова и царство свободы Маркса не связаны с библейской идеей Царства Божиего? Но обратим внимание на направленность их мысли. Не обращались ли они со своими реформаторскими проектами к народу и государству, минуя церковь? Один Толстой удостоился церковной анафемы. Остальные реформаторы получали свое непосредственно от средоточия "святости"— государства. Сетования по поводу искажения и использования русской идеологии русским государством столь же основательны, как жалобы "истинных марксистов" на извращение марксизма-ленинизма правящими партиями. Когда, пользуясь своим талмудическим знанием Маркса, они доказывают, что диктатура пролетариата не означает диктатуру партии,ни, тем более,диктатуру вождей, мне хочется сказать им, что уже давно Лизавета превратилась в название профессии, а их знание происхождения этого слова имеет чисто исторический интерёс. Большевики не обманули народ, как кажется многим идеалистам, а искренне, точнее, в той мере искренне, в какой это позволяла их идеология и практика, воплотили в жизнь многие народные идеалы. Обманут был не народ, а та небольшая группа талмудистов, которая шла на поводу у буквального смысла слов, полагая, что говорит с народом на одном языке.

Царство Божие на земле, его практическая реализуемость, его частичное осуществление в русском государстве, его, таким образом, естественное право на нашу внутреннюю жизнь является той идеей, которая Россией была из христианства усвоена и которая теперь переживает реформацию. Естественно, что эта идея родит там много аналогий с еврейской историей. Ведь еврейство, в частности, отличается от христианства более материалистическим отношением к Царству Божиему.И в первых веках не было недостатка в реформаторах, подобно Хомякову, Соловьеву, Федорову, предлагавших духовное решение проблемы. Но народная стихия выплеснула вождей, знавших истину в ее последней инстанции. Иосиф Флавий говорит о вождях зилотов почти то же, что русские эмигранты о большевиках. Победа этих практических вождей над мудрецами и книжниками была предопределена культурным уровнем народа и предопределила в свою очередь гибель еврейской духовности. Быть может, такая судьба еще ожидает русский народ, но на первом этапе произошло обратное. Рим (т. е. мировая буржуазия, Антанта) был побежден, и духовность почти начисто исчезла. Насколько эти процессы в действительности близки, видно из такого, кажущегося теперь невероятным, факта, что евреи того времени ненавидели мудрецов и образование. Рабби Акива рассказывает, что, когда он в молодости был необразованным дровосеком, он так ненавидел мудрецов и книжников, что если бы встретил одного из них, то укусил бы его, как осел. "Как собака", — поправил его ученик. "Нет, — сказал Рабби, — как осел. Ибо собака кусает и не ломает кости, а осел ломает и кость".

Может быть, теперь, лишившись поддержки властей, православие начнет новый путь. В свое время у него был шанс стать народной религией, противопоставив себя

Орде. Позже, может быть, христианами стали только раскольники.

Христианство, предъявляющее требования к отдельной душе, создающее внутренний императив совести, независимый и даже, быть может, отталкивающийся от общепринятого, оказалось в России столь же непрочным, столь же далеким от исторической реализации, как и его материальный носитель — русский интеллигент. Получил реализацию и развитие социальный государственный аспект русского претворения библейской идеи, который у идеологов (даже идеологов большевизма) всегда стоял на втором месте. Я уже говорил, что это связано с разным пониманием слов и разным расположением соответствующих понятий на шкале ценностей у противоборствующих или союзничающих групп. В 1917 году это очень ярко проявилось в столкновении, при котором И. Г. Церетели заявил, что "нет такой партии в России, которая могла бы единолично взять и удержать власть", а Ленин ответил: "Есть такая партия". Они говорили на разных языках, и смысл этого спора даже сейчас не всем понятен.

Я пробую охарактеризовать русскую народную идеологию в более духовных терминах, чтобы избежать профанирования. Выделим из Ветхого Завета несколько элементов, которые кажутся существенными в сознании народов. Единство Бога и мира, идея Завета избранного народа с Богом, но не тождественная обетованию Царства Божиего, свобода воли, соприкасающаяся с принципами совести, примат справедливости перед силой, трактуемой иногда наивно, как формула: справедливость есть сила. Все эти элементы одновременно реальны в еврейской идеологии, и это делает ее необычайно трудной для духовного постижения и необычайно легкой для вульгаризации: христианство несколько облегчает зада-

чу, объявляя Царство Божие не от мира сего. Хотя тем самым отчасти колеблется принцип единства и ставится под удар свобода воли, но Завет с Богом приобретает черты такой эмоциональности, такой индивидуальной интимности, что потеря кажется оправданной или, по крайней мере, обоснованной. Европейская реформация, восстанавливая реалистический смысл свободы воли, уходит еще дальше от единства. И разделение миров (кесарю — кесарево), церквей, плюрализм взглядов, разнообразие укладов становится характерным для современного Запада.

Русская реформация восстанавливает реальность Царства Божиего и избранничество за счет сужения свободы воли и утверждения силы как справедливости. Так как народный инстинкт требует единства, идеология сохраняет его, последовательно выбрасывая и Бога. Бог может существовать лишь как альтернатива детерминизму. Русские мыслители типа Бердяева, отступившие перед такой необходимостью, вынуждены были отказаться от самого единства в пользу мистики. Как ни странно, грубый материализм дает более приемлемое совмещение, по-видимому, необходимых элементов народного сознания, чем утонченно дуалистические доктрины. Из названных элементов русскому народу оказалось легче всего расстаться со свободой воли, и я боюсь, что необходимость, которая ее замещает, понемногу вытеснит и индивидуальную совесть, поскольку она производна от свободы. Во всяком случае, народная пословица эту тенденцию уже зафиксировала: "А где была у меня совесть, там вырос здоровенный... Знаешь чего?"

Конечно, рядом с экономическим детерминизмом и безбожием, сочетающимся с религиозной верой в прогресс и чудеса науки, существует у нас и гипертрофированный спиритуализм с полным неприятием науки как

греха, но подавляющая тенденция материалистическая. Я даже думаю, что и реальный путь к духовности в России будет не прямой, а через науку и полезность, которая легко умещается в материалистическом пантеоне. Понять смысл и характер русской идеологии, выразить ее в библейских терминах важно для меня не только потому, что я здесь жил и оставляю часть души, не только потому, что, сроднившись с этим народом, ощущаю теперь необходимость самому провести грань разделения, прежде чем ненависть и вражда проведут ее по-своему и навсегда. Это и не потому, что нынешняя ситуация повторяет Исход во всех существенных чертах, от истории Иосифа, который управлял этой страной, до казней египетских, которые уже начались.

Я думаю, что евреи должны понять русскую идею потому, что это их собственный соблазн, вариант интерпретации, от которого им следует о т т а л к и в а т ь с я (понять и преодолеть). Действительно, тот набор понятий, отчасти связанный с марксизмом, а большей частью коренящийся в трудах русских нигилистов и демократов, который сходит у нас за идеологию средних слоев интеллигенции, настолько напоминает вульгаризацию библейской идеи, что поневоле сочувствуешь русофилам, которым евреи и здесь проходу не дают.

Единство мира (научный монизм): избранничество, в разных вариантах, то пролетариата,то русского народа, основанное на научных доктринах, которые с неуклонностью Завета приведут к царству Справедливости; свобода как осознанная необходимость; будущее как цель настоящего.

Существенное участие евреев в разработке и реализации этого учения и приемлемость его для многих евреев сейчас правильно характеризует его как крайнее течение.

как законченную альтернативу христианству внутри библейской идеологии. Но так как идеология еврейства, или, лучше, библейства, как я ее понимаю, захватила всю нашу цивилизацию и, по крайней мере, треть человечества, это противостояние носит не национально еврейский, а всемирно-исторический характер. Поскольку мне кажется, что путь евреев еще не завершен, для нашего самопознания и русская метаморфоза в частности, и возможность незрелой реализации вообще, представляются крайне важными. Реализм евреев, стремление к цельности взглядов, слитность мысли и чувства, устремленность к завершению, законченности, рефлекс цели на одном из своих низших уровней приводит к упрощенчеству, к мании доктрин, к упоению системой.

В физике великолепная ясность взглядов Ландау граничила со схематизацией, которая страшно обедняла его мир, а житейски просто делала его пошляком. И у Маркса, и у Фрейда заметна тенденция к сужению мира до размеров познаваемого, т. е. до тех пределов, в которых работают их теории.

Это искушение, будучи, вообще говоря, общечеловеческим, особенно опасно именно в еврействе, которое лишено мистики и всяких других следов дуализма. В пределах христианства всякая упрощенная точка зрения найдет свое дополнение в неизъяснимо потустороннем. Тотальный характер еврейского мышления требует либо отвержения теории, либо отрицания реальности, неукладывающейся в эту теорию.

Конечно, интеллигентному человеку ясно, что выход просто в признании относительной ценности любой теории, но это понимание не снимает потребности в метатеории, "науке наук", в рациональном и обозримом формулировании того, что непостижимым образом поместилось в Библии, несмотря на конечный объем,

и что остается шире любых интерпретаций. В каждое историческое время люди будут предлагать частные ограниченные реализации, но без них вовсе по-видимому, жизнь идеи невозможна.

Зилоты со своим культом свободы, социализмом и героической романтикой настолько скомпрометировали идею земного воплощения, что, не говоря уже о христианстве, евреи много столетий предпочитали духовные свершения. Однако стремление к реализации по-прежнему присутствовало в народе, и оно, в частности, привело к такому массовому отказу еврейской молодежи в XIX веке от религии (а тогда это почти означало — и от еврейства). Традиционная религия этому стремлению не давала никакого выхода.

Ничего удивительного нет в том, что еврейская по духу идея пробилась в России через православие. Мюнстерская коммуна и государство таборитов тоже происходили от интерпретации христианства, которое в этом варианте неотличимо от раннееврейских идеалов. Заметим, что ессеи также участвовали в Иудейской войне, несмотря на свою кротость. Удивительно, что Россия никогда своего еврейства не признавала. Принцип "Москва — Третий Рим" психологически абсолютно фальшив. Никакого сходства с Первым Римом у нее нет и в помине, а со Вторым Москву роднит только деспотизм императоров. Империалистическая же идея пришла гораздо позже (в петербургский период). Но для психологической характеристики обстановки взаимоотношений народа и власти, самопознания общества правильнее было бы сказать: "Москва — Второй Иерусалим! — Я даже допускаю, что старец Филофей приблизительно это и хотел сказать, ибо Рим в словоупотреблении того времени и означал Иерусалим — священный город.

То, что привлекало сердца к зилотам и на целое столетие отвращало от духовности — возможность немедленной реализации, — привело к гибели государства и подавляющего большинства народа. Еврейский народ, который сохранился, произошел от тех немногих, для которых Книга была родиной и Иерусалимом.

Предсказание такой судьбы во времена между победой Маккавеев и римским господством показалось бы евреям диким и совершенно необоснованным. Теперь, думая о том, кому нужны Хомяков, Чаадаев, Достоевский и Толстой, Соловьев и Федоров, куда делся их "русский народ", их "русская духовность", для чего нужны были их искания и открытия, я склонен допустить, что души тех нескольких интеллигентов, которые, перебиваясь с хлеба на квас, сохранили у себя эти книги и способность их понимать, и есть достаточное оправдание всего замысла, что эта кучка и произведет в будущем "потомство, как песок морской", что только с ними будет в XXIII веке связываться понятие "русский".

Но пока мы наблюдаем противоположное. Лучше держаться обычного словоупотребления и сформулировать, что русские сумели воплотить в жизнь материалистическую вульгаризацию библейской идеи, и эта реализация оказалась для библейского духа убийственной. Приведет ли это к постепенному видоизменению общества и соответствующему одухотворению исходной доктрины или к окончательной гибели России и возрождению "русской духовности", мы можем не узнать никогда.

Думаю, что даже самые рьяные последователи русской эсхатологической идеи не пожелали бы ее торжества в духе еврейской истории. . .

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Не могу сказать, чтобы всю жизнь я был безоблачно счастлив, но все же всегда течение жизни сопровождалось у меня положительными эмоциями. В 1968 году мне стало трудно дышать. Может быть, политические события были тут вовсе ни при чем. Может быть, 37 лет просто роковой возраст... Но мне стало так трудно дышать, что я почувствовал себя совершенно чужим среди довольных и процветающих. И, пожалуй, среди протестующих и угнетенных — тоже.

Раньше я всегда был страстно заинтересован в происходящем. Мне было небезразлично, с симпатией или антипатией относятся ко мне окружающие... Теперь все для меня вдруг изменилось. Я с раздражением отмечал, что слишком многим нравлюсь. Все чаще во время разговоров и процессов (а были, в конце концов, и процессы), определявших мою судьбу, работу, зарплату, я обнаруживал в себе непривычную при таких обстоятельствах наблюдательность и спокойствие экспериментатора. Травля, которую организовали два-три карьериста из якобы принципиальных соображений (предлогом была дружба с Синявским и Даниэлем, но шли и другие

соображения, например, "слишком хорошая" квартира в Дубне и т. п.), совершалась почти без всякой личной ненависти, по-деловому. Большинство участников кампании в перерывах между заседаниями (где они требовали применения ко мне самых строгих мер) выражали мне свою симпатию и преданность. Все коллеги так глубоко сочувствовали мне, что я должен был совершать над собой усилия, чтобы не огорчить их просьбой о помощи. Похоже, что у меня не было врагов. Не означало ли это, что я уже обезличился? Разве я не таков же?

Я стал проявлять свою индивидуальность по мере сил. На Ученом Совете, решавшем мою научную судьбу (забрать у меня лабораторию, которую я 10 лет строил, или нет), я выступил и заранее объявил, что мне наплевать на их решение, раз они, как овцы, способны собраться по капризу начальства и обсуждать заведомые глупости всерьез, но что наука — слава Богу! — не в их руках. На этот раз я действительно добился, что даже те четверо, которые (тайно) голосовали за меня, проклинали меня на чем свет стоит, за мой паршивый характер. В других институтах, куда меня еще могли взять, я ставил условия, которые возмущали работодателя, уверенного в том, что он совершает героический акт милосердия. С молодым академиком, с которым однокашники свели меня в надежде на его заступничество, я сразу перешел на "ты" (обычно мне перейти с человеком на "ты" очень трудно) и показал ему, что мы можем играть с ним только на равных, — а зачем я ему тогда?

Постепенно я усвоил такой отстраненный взгляд на действительность, что идея возвращения на "историческую родину" показалась мне специально для меня придуманной. Действительно, как еще радикальней я мог бы выразить свое несогласие абсолютно со всеми?

Но еще прежде, чем эта отчужденность превратилась в осознанное отрицание, произошло событие, которое превратило это отрицательное чувство в положительное. В желание бежать куда глаза глядят, в желание перестроить свою жизнь.

Накануне нового, 1970 года умер отец моего близкого друга. Он был прекрасный человек и всю жизнь жил еврейскими чувствами и мыслями об Израиле. Чудом он избежал ареста в 1949 году и мечтал о встрече с израильскими родственниками. Его рассказы о евреях и еврействе я слушал с таким же увлечением, как в детстве рассказы об индейцах: увлекательно, но к нашей жизни неприменимо. В 1967 году он получил разрешение посетить Израиль, но началась Шестидневная война, и разрешение было отменено. Теперь он неожиданно для себя и для нас умер в маленьком поселке в 40 км от Москвы во время трескучих морозов 30 декабря 1969 года. Племянник-врач, который примчался за 50 км прямо из-за предпраздничного стола, уже ничего не мог поделать. Похороны должны были произойти не позже утра 31, так как уже с вечера и все последующие три дня весь поселок будет вдребезги пьян.

Вся моя бывшая лаборатория несколько часов отбойными молотками долбила промерзшую землю деревенского кладбища, а я возил им водку и горячий кофе. Чудовищный гроб из мокрых досок невозможно было пронести по лестницам малогабаритного дома с пятого этажа, и мы пять раз ставили его стоймя, рискуя, что покойник вывалится. Метель заметала могилу, секла заплаканные лица, и там, в мерзлой земле, среди хаотически покосившихся крестов, мы оставили его навсегда... Молоденькая сотрудница все допытывалась у меня, каковы еврейские погребальные обряды, а я со злостью,

которая относилась не к ней, сказал, что не знаю, что нас учили, будто все люди — братья. А единственный, кто знал, — умер. И не рассказал нам, потому что мы не спрашивали. И какие же мы братья, если мне нечем с ней поделиться.

После этого я заболел. Ничего особенного со мной не произошло, но около месяца я не хотел вставать с постели и ничего странного в этом не видел.

Когда я встал, я был уже другим человеком. Я знал, что не буду больше жить в этой стране, и так как тогда — в 1970 году — это могло значить что угодно, я решил попрощаться с миром и подвести итог. Тогда я стал писать эти записи. Здесь написано ровно столько, сколько я успел написать за 1970 и начало 1971 года, пока выезд в Израиль не стал реальностью. Тогда я принялся действовать, и, наверное, действие и писание находятся у меня в соотношении дополнительности, потому что с тех пор я не смог дописать к написанному ни строчки. Но перечитывая сейчас, я вижу, как далеко от этого ушел, и мне хочется всю рукопись переделать. Если я ее переделаю, она перестанет быть понятной для такого читателя, каким был я, когда ее писал, а может, уже и ненужной. И сейчас, когда я еще не потерял надежду, я не перестану барахтаться, — а, значит, писать мне будет некогда. Я не высказал еще и половины того, что хотел, а свои воспоминания я могу опять начать сначала.

Все же мне придется высказать два замечания по поводу написанного:

1. Я стыжусь той философской безапелляционности, которая у меня иногда проскальзывала. Это, вероятно, особенность всех советских авторов, у которых благодаря философскому вакууму в СССР создается ложное впечатление своей осведомленности после прочтения

нескольких неортодоксальных книг. Теперь, когда я прочел их гораздо больше, я понял всю меру своей необразованности. Но те годы я жил именно с этим сознанием и этим философским багажом.

2. За прошедшие три года мне все чаще приходилось думать, что, быть может, связь между моим личным богом, "который выводит на дорогу в лесу" и вспоминается в бессонные ночи, и Богом, который пишется с большой буквы, гораздо более тесная, чем мне казалось, когда я писал. Но я и сейчас чувствую такую интимность подобных ощущений, что описывать их мне не хочется. Сказать об этом я из честности обязан, но предпочел бы и дальше не упоминать Имени Божьего всуе.

Эмиль, может быть, назвать "Прощание с Россией"?

Александр Воронель родился в 1931 году. Профессор физики Тель-Авивского университета. Приехал в Израиль из Москвы в конце 1974 года после нескольких лет борьбы за выезд. С 1972 по 1974 год издавал самиздатский журнал литературно-философского направления «Евреи в СССР».

В начале 1972 года основал в Москве семинар ученых-отказников, который существует и поныне несмотря на преследование властей.